

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

Так хочется жить  
Виктор Астафьев

Коляша Хахалин других дорог и не знал, по другим, слава Богу, и не ездил. Пение полуторки, этот усыпляющий звук мотора останавливает время, погружает в немоту мир окружающий, точнее, пронесит его мимо с левой и с правой стороны машины. Хоть бы жажнуло где, стукнуло бы, что ли, хоть бы огонек где мелькнул, но лучше бы много огней, напоминающих человеку, что не один он во вселенной, что живут еще люди и теплят огоньки в жилищах. «Дрожащие огни печальных деревень», пусть бы и дрожащие, пусть бы и в печальных селениях....

Виктор Астафьев

ТАК ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

Во здравие живых, во славу павших побратимов-окопников.

Автор

Часть первая

ДОРОГА НА ФРОНТ

Фронтальные дороги ведут в бесконечность и никогда не повторяются. Но их разнообразие, переменчивость, неудобь – не способствуют бодрости, в особенности если едешь по ним ночью, – а все передвижения близ фронта происходят в основном в ночное время, и давно кажется, если не год, то уж неделю наверняка сидишь за рулем. И усталость, и ночь, и пение мотора машины-полуторки не просто навевают сонливость, но клонят в сон, одолевает расслабляющая бесчувственность, склеиваются глаза, меркнет сознание, покидает шофера чувство страха и ответственности. Будто расстроенная струна звучит на расстроенной балалайке: гынь-гынь-гынь, гань-гань, гане... гы-ы-ынь... гы-ы-ы-ыы...

Коляша Хахалин других дорог и не знал, по другим, слава Богу, и не ездил. Пение полуторки, этот усыпляющий звук мотора останавливает время, погружает в немоту мир окружающий, точнее, пронесит его мимо с левой и с правой стороны машины. Хоть бы жажнуло где, стукнуло бы, что ли, хоть бы огонек где мелькнул, но лучше бы много огней, напоминающих человеку, что не один он во вселенной, что живут еще люди и теплят огоньки в жилищах. «Дрожащие огни печальных деревень», – пусть бы и дрожащие, пусть бы и в печальных селениях.

Но никого и ничего вокруг и вдали, лишь мотор поет свою однообразную, вкрадчиво-ласковую песню, и рулевого снова и снова начинает долить сон, голова, сколь ее ни держи, сламывает шею, размягчает кости, осаживает туловище до тех пор, пока лбом не коснешься холодного железа, пока им не стукнешься об округлость баранки, – мгновенное тогда происходит воскресение, испуг на какое-то время расширяет сон, отгоняет его. Рулевой, разом вспотев, ищет, ищет глазами белое пятнышко впереди, не найдя его, прибавляет газу, полуторка вздрагивает от неожиданности, вроде как и она задремала тоже, начинает досадливо постреливать и рычать от напряжения. Но если впереди лунным пятнышком засветится метка – на рулевого сразу же нападает благодущие, расслабленность, и снова, и снова усыпляюще запекает мотор: гынь, гынь, гы-ы-ы-ынь...

«В дорогу идти – пятеры лапти сплести», – слышал где-то Коляша. И повторяется, и повторяется: «В дорогу идти... в дорогу идти... гынь-гынь...»

Коляша Хахалин шофером себя стеснялся называть, тем более водителем – совсем уж это редкостное, высокое слово, а значит, оно и определяет человека особой мерой – во-ди-тель! – специалист, значит, кого-то и куда-то ведет он. А вот скажешь –

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
рулевой, и вроде как взятки гладки – какой с рулевого спрос, он за руль только и отвечает, все равно как ссыльный пастушонок-поляк сказал однажды в поселке-городе, далеко-далеко на севере стоящем, что он – «водитель крувы».

Коляша тоже мог быть «водителем крувы», шофером же быть он не мог. У Коляши Хахалина прозвище Колька-свист, не в подражание герою «Путевки в жизнь» ему дано, оно самим им нажито – Коляша был мастер по части чтения, пенья, всяческого сочинения. У него был, как бы сказали нынешние педагоги, «гуманитарный склад характера» – он соответствовал этому характеру, учился хорошо по языку, литературе, истории, географии и очень плохо по математике, за что его всегда ругали, порицали в детдоме, оставляли на второй год в школе, однажды оставили даже и на третий...

Соответственно своему гуманитарному наклонению в характере Коляша ничего не смыслил в технике и за жизнь свою восемнадцатилетнюю из техники только и запомнил, что есть выключатели электричества, не только вверх и вниз действующие, но и вправо – влево, еще он запомнил, что электролампочку, когда свету хочется и когда свет погас, надо тоже вертеть вправо, поскольку в детдоме ребята часто били лампочки, ключ у дверного замка, чтобы его отомкнуть, между прочим, тоже чаще всего поворачивается вправо.

И вот с такими-то техническими данными Коляша Хахалин попал в автополк – учиться на шофера. Его и не спрашивали, хочет он или не хочет учиться на шофера, может или не может овладеть машиной. Выстроили призванных ребят во дворе областной военной пересылки, выкликнули фамилии по списку, велели сделать шаг вперед, сомкнуться и следовать еще раз на комиссию, на медицинскую. Коляша уже прошел одну комиссию и скрыл от нее, что правая нога у него ломаная, что он малость прихрамывает, да при той комиссии, будь он хоть на протезе, и то оказался бы годен к битве. Но тут, на второй комиссии, он смекнул неладное и сказал врачу, который ему показался главным, что он хромает. «Как со зрением?» – спросил врач. «Полный порядок!» – бодро воскликнул Коляша. Врач сказал, что главное в его будущем деле не ноги, глаза. И загремел Коляша в автополк. Поторопился он с ответом насчет глаз. Надо бы туфту гнать, близоруким, а то и слепым притвориться. Надо было... Но куда богатого конь везет, туда бедного Бог несет.

Это он понял с первых дней пребывания в автороте. Там уже были ребята, переправленные в автополк из других воинских частей, народ, знающий мотор, технику, – бывшие трактористы, комбайнеры и даже рулевые, закончившие автокурсы или не успевшие их закончить, не получившие права называться шоферами. Многие из призывников успели помотаться по грязным, холодным казармам, оголодали там, обовшивели, иные уж доходили и, попав в автополк, в кирпичные казармы, строенные еще при царе, где было сухо, тепло и питаньишко получше, чем в пехоте, старались учиться изо всех сил, быстро осваивали боевую технику, то есть автомашину «ГАЗ», кто и «ЗИС». Кроме занятий техникой, изучения правил уличного движения и безопасности, курсанты проходили и строевую, и боевую подготовку. Спали мало, но крепко, уставали потому что.

У Коляши Хахалина в автороте не заладилось ученье – говорун, просмешник, анекдотист, песельник, сперва он был принят в роте по-братски и даже выделен среди остальных, прозвище к нему, неведомо, как и почему, вернулось прежнее в точности – Колька-свист. Он даже ротным запевалой сразу сделался и навечно простудил горло на сибирском морозе. Но чем дальше в зиму, тем больше становилось мороки с автоучебой. На тренажерах – в большом зале из досок сделаны помосты, и к ним прикреплены педали, рычаги, крючки, ручки и сам руль, – сиди и целый час, когда и два, переключай скорости, жми педаль сцепления, и Коляша на тренажере-то лихо сперва переключал все с шутками, с прибаутками, но это занятие ему скоро надоело, и он начал отлынивать от классной учебы. По соседству, в зале, еще более просторном, на постаменте стоял двигатель машины «ГАЗ», в разрезе двигатель-то, как животное или человек в учебнике по зоологии. Подходишь и видишь все сложное нутро: поршни, коленчатый вал, карбюратор, генератор, помпу, охлаждающий бачок и еще много-много чего. Как-то прикинул Коляша про себя, и вышло, что нутро машины куда как сложнее, чем человеческий организм! – попробуй, постигни такую технику!.. Коляша пал духом от сложностей автомобиля, служба его в роте и наука пошли худо, со спотычками, отношения в автороте не заладились.

За длинный язык, за острое, не всегда к месту сказанное слово его невзлюбил и начал принародно одергивать главный человек в роте – старшина Олимпий

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
Христофорович, фамилия которому была Растаскуев. Крупный, румяный мужик с умеренно вспухшим животом, с алыми губками и совершенно пронзительным взглядом голубеньких глаз с остро заточенными зрачками. Коляша возьми и скажи старшине, без всякой задней мысли, что у графа Бенкендорфа отчество было тоже Христофорович. Старшина поинтересовался, кто это такой? Коляша, опять же безо всякой задней мысли, ответил, как учили в школе, – прихвостень, мол, тирана-царя и погубитель гениального поэта Пушкина. Уже вечером того же дня Коляша вычерпывал и выносил мыльную воду из-под умывальника, затирал в умывальнике пол и подметал коридор в казарме.

Перед отбоем старшина Олимпий Христофорович произнес речь перед выстроенной ротой в том духе, что среди прибывших есть грамотеи, знающие все про Пушкина и Колотушкина. Рота слегка колыхнулась от смеха, старшина переждал и продолжил: но устав и боевую технику эти грамотеи изучают плохо, нерадиво, а он, старшина, служит в автополку еще с кадровой и всяких навидался, они от его науки и пристального внимания не только Пушкина-Колотушкина забывали напрочь, но и матери родной имя не вдруг вспоминали...

Речь старшины была короткой, состояла в основном из намеков и обобщений. Но после того, как Коляша поинтересовался: неужели Олимпий Христофорович не прочел в жизни ни одной книги; зачем тогда в полку существует библиотека, довольно обширная и интересная; он, Хахалин, несмотря на жуткую занятость, в библиотеке той уже побывал и убедился, что руководство Красной Армии думает не только об маршировках, об изучении устава и техники, но и об интеллектуальном развитии ее рядов, – напутственная речь старшины на сон грядущий удлинилась. В других ротах отбой произошел, люди уже спали, в Коляшиной же роте, забросив кулачищи за спину, перед строем расхаживал Растаскуев-старшина и нравоучительствовал, обозначая дальнейшее направление жизни в том смысле, что армия есть армия, и он не позволит в ней никакого разгильдяйства и умничания, за счет часов отдыха и политзанятий он попросит увеличить часы занятий строевой и боевой подготовкой, потому как рота готовится не к свадьбе, на войну готовится, на фронт, и надо быть во всеоружии, надо, чтоб на фронт уезжали крепкие духом, умелые бойцы, способные бить врага в любой час, в любом месте. Спать рота легла на час позже, и кто-то впотьмах больно сунул кулаком Коляше в бок.

Назавтра и в самом деле был сокращен, навовсе сокращен и более не восстановлен час личного времени. Курсантов вывели на мороз, старшина повелительно крикнул: «Хахалин, запевай!» – и залился, запел Коляша, а за ним и вся рота. Куда денешься? Армия!

На этот раз перед отбоем старшина речь не произносил, но в умывальник Коляшу с двумя товарищами отправил – наводить санитарию, и, драя пол шваброй, пританцовывая, Коляша во все горло пел, хотя ни петь, ни танцевать ему не хотелось: «Финнам мы покажем жопу, раком повернем Европу, а потом до смерти зае...». В умывальник ворвались трое крепких парней в нижних рубашках – Коляшу и напарников его бить, но тут оказались бойцы не робкого десятка, и так они обиходили швабрами нападающих, что те превратились в отступающих.

За это за все: за драку, за избивание дисциплинированных курсантов – Коляша был послан долбить помойку, и старшина напутственно похлопал его по спине: «Иди и подумай на ветру кой о чем. Охолонись...»

Вернулся Коляша в казарму уже под утро, нисколько не выспался, кемарил в учебном классе, путался в ответах, был выгнан на улицу – ползать по-пластунски под командой рыжего, носатого сержанта, который недоуменно и дружески наставлял Коляшу:

– Неужели трудно запомнить, что старшина главнее солдат? В уставе же написано: «Приказ начальника – закон для подчиненного».

– Все понял! – бодро заявил Коляша.

Перед отбоем курсанты добром его просили в роте: «Уймись! Этот битюг заест и тебя, и нас...» Но Коляша от бессонницы и изнурения внутренне клокотал, прямо из строя сказал Олимпию Христофоровичу, что он как командир самой передовой и сознательной армии не имеет права издеваться над людьми. Пусть его, Хахалина, наказывает, как мохнатой душе старшины хочется, но ребята тут ни при чем.

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
– Хор-ро-оо-ошо-о-о! – с растяжкой сказал старшина, – оч-чень хорошо-о-о! Раз человек просит, грамотный, культурный, песни и стишки знает, уважим его. Р-рота, отбой! Хахалин в умывальник!

В умывальнике были две длинные лавки, приделанные к стене. Над лавками ячейки, в каждой ячейке крючок для полотенца и желобок для мыла. Коляша, натянув мазутную телогрейку на ухо, лег на скамейку спиной к батарее и мгновенно уснул. Проснулся он оттого, что повис в воздухе, – старшина Растаскуев взял его за воротник со скамьи.

– Отпусти, х..сос! – закричал Коляша.

– Кто я? Кто я? – от неожиданности старшина приземлил Коляшу и, повернув его к себе лицом, требовал: – А ну, повтори! А ну, повтори!

И Коляша не только повторил, но и добавил:

– Педераст! Фашист! С-сука! – и в довершение плюнул в румяную толстую морду и тут же получил такой удар, что брызнуло из глаз, будто из бессемера, продувающего горячий чугун, который Коляша видел когда-то в киножурнале.

Пролетев по воздуху изрядное расстояние, курсант вышиб спиной дверь в расположение роты и приземлился на пол. Разъяренный старшина выскочил следом, занес ногу пнуть щенка, но щенок тот был детдомовский, натерелый в драках, нервами еще сызмальства изношенный – когда его, еще неопытного карманника, пинали на базаре, на крыльце магазина, он умел вывертываться и ни советским гражданам, ни судьбе покудова не дал себя запинать. Вертухнувшись на полу, боец Хахалин ухватил занесенный над ним сгармошенный яловый сапог, дернул и услышал, как тяжелое тело, грохнувшись по пути об приступок нар, тоже упало на пол. Медведем рыча, от нар начало взниматься оскаленное чудище, чтобы раздавить, размичать червяка, посмеяшего поднять руку на армейского господина, на самого заслуженного в автополку старшину Растаскуева. Коляша Хахалин метнулся к пирамиде, где в ряд со старыми винтовками стояли недавно полученные карабины новейшего образца, с несъемным штыком. Карабины все были в порядке, смазанные, вытертые, штыки подняты, на них масло блестело, и, разом забыв все приемы штыкового боя, все на свете забыв, с криком: «Заколю с-суку! Заколю!» – с поднятым над головой карабином Коляша ринулся на старшину.

Не приняв рукопашного боя, старшина Растаскуев ринулся прочь. А Коляшу уже понесло. Видя перед собой широкую, будто дверь переселенческого барака, плотно обтянутую шерстяной офицерской гимнастёркой спину, боец Хахалин целил всадить боевой штык в середку ее, меж лопаток, и даже успел мстительно насладиться, явственно слыша, как захрустит та ненавистная спина, как завопит этот лапистый громила...

Косолапый, на одну ногу припадающий Коляша и величавый старшина вопили во всю глотку. Огромная, царских времен казарма, вмещающая на одном этаже аж целый батальон – душ до пятисот, при утеснении – и до тыщи, проснулась, в Коляшиной роте кто-то прыгнул с нар, погнался следом с готовностью не то выручать старшину, не то помогнуть товарищу, но не догнал сражающихся – прыток оказался Олимпий Христофорович, здорово умел бегать, хотя и на фронте не был, практику драпа не проходил.

Во второй роте на середку прохода выскочил дежурный, раскинув руки, закричал:

– Стой! Стой!

Коляша отшиб его в сторону, однако дежурный третьей роты поступил просто: дал подножку яростно наступающему вооруженному бойцу. Выронив карабин, боец проехался по бетонному полу брюхом, ссадил его, оцарапал. Дежурные навалились на бунтаря, заломили ему руки и поволокли в комнату командира батальона – сей ночью тот ночевал дома или еще где. С противогазом на боку сюда же вбежал дежурный по батальону младший лейтенант при новеньких погонах и, увидев, как жестоко избивают сослуживцы солдатика, будто чечетку отбивая, затопал:

– Прекратите! Что вы делаете? Прекратите!

Бойцы послушались, бить прекратили, но держали бунтаря за руки. Супротивника

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
своего бил уже один – старшина Растаскуев, месил мальчишеское лицо,  
приговаривая:

– Я тя научу! Я те покажу! Я те... – приостановился вдруг и, глядя в расквашенное, окровавленное лицо сосунка, задыхаясь, спросил: – Так кто я? Кто?

– Фашист! Фашист! – Коляша сгустком крови харкнул в трясущее подбородком лицо старшины.

– Да прекратите же вы, наконец! Прекратите! – вопил младший лейтенант.

– Не-эт! – утираясь, взревел старшина. – Не-э-э-эт! Я добыю! Я добыю эту гниду... – и снова ринулся на Коляшу, заноса кулачище аж за спину – для сокрушительного удара.

Ах, дурак, дурак! Разве так дерутся?! Сам вот много бил, а самого били мало – раскрылся, выпятился молодецкой грудью и совсем-совсем не берег свою толстую морду...

Коляша, как бы изнемогши, как бы оберегая остатки лица, опустил голову, соблазняя истязателя подцепить его кулаком-кувалдой для последнего, прицельного удара. Как только старшина приосел в боевом маневре, Коляша головой и одновременно в прыжке ударил победительно топавшего воина ногами в низ живота. Что-то хрустнуло, всхлипнуло внутри старшины, в следующее мгновение он уже полулежал, зевая, у стены, под портретами Карла Маркса и Фридриха Энгельса, выше которых еще висели Ленин и Сталин. Поверженный старшина старался что-то молвить, но, глуша, размягчая звуки, изо рта ротного дяди выплескивалось красное месиво и все тот же тонкий писк тянулся вместе со слюною.

Младший лейтенант подхватил бунтовщика, выбрызгивающего вместе со слюною и с кровью ругательства, какими владеет только советский простой человек, и в первую голову шпана всякая, прежде всего детдомовщина, уволок его за перегородку, ко кровати для дежурного.

– Что же это вы?! Что же это вы?! – топтался вокруг коляши дежурный по батальону и совал ему полотенце. – Умойтесь. Умойтесь. Как же это вы? Что же это вы?..

– Не надо, – отстранил полотенце Коляша. – Испачкаю. Мне бы тряпку какую, – и начал умываться холодной водой.

Младший лейтенант тряпицы не нашел, пришлось все же пользоваться полотенцем.

– Безоружного бьют! За руки держат... – почти стонал младший лейтенант, видать, начитавшийся благородной литературы, и предложил коляше ложиться на кровать дежурного. – Мне уж лечь не доведется, а вы ложитесь. Я вас запру на ключ. Ой, что завтра будет?! Что завтра будет?!

Младший лейтенант ушел, придерживая противогаз на боку. Коляше отчего-то подумалось, что вот этого-то командира как раз и убьют на войне – война хороших и добрых не щадит, и Бог, говорят, их к себе в первую очередь призывает...

Он осторожно уложил себя поверх одеяла. Его начинало трясти, и горькая, слезливая, какая-то детская слабость и обида накатывали на него. Большой боли он пока еще не ощущал, но вот чувство сиротливости, одиночества и безмерной тоски по кому-то и по чему-то распространялось по всему телу, по всему нутру и даже, вроде бы, под кожей. В крови, в мышцах поселялась тоскливая пустота. Как и всегда после потрясения, вспышки в детстве еще приобретенного психоза, он болел всем телом, слабел духом, страдал чувством покинутости. Как всегда, ему хотелось куда-то уплыть, уехать, убежать. Да куда уедешь, уйдешь от этой казармы, из этой жизни? Он уже давно решил, что когда-нибудь в такие вот минуты покончит с собой.

Трясло все сильнее, стучали зубы, и сквозь них не вырывался, но тек, сочился прикушенный вой. Он задрал военное одеяло, которое натянул было на подушку, чтобы не запачкать казенную наволочку, сказал сам себе: «Семь бед – один ответ», – и попытался заснуть, да сон не сходил на него. Тогда он стал вспоминать свою прошлую, такую еще короткую, однако очень насыщенную жизнь. Воспоминания всегда насылали на него сон и успокоение.

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
Вспоминать – то Коляше особенно и нечего. Родителей его, Хахалиных, отца и мать, выслали на север из богатого алтайского села Ключи. Коляша был еще мал, только-только входил в школьный возраст. Его зреющая детская память совпала с крутыми переменами в стране, и первоначально в ней отпечатались: утомительно-длинная, почти бесконечная и оттого скучная таежная дорога да холод полупостроенных или полуразрушенных бараков, в которых люди перемогали зиму. Натоптали тропы, обляпали все вокруг нечистотами, усеяли прорезенную тайгу бугорками неглубоких могил. На те могилы дети ходили играть в дом и в пашню, так как эти бугорки были единственной зримо приближенной землей. Остальное же все глубоко завалило немой, слепящим глаза снегом.

Вот когда уцелевший в тайге народ затолкали в баржи, прицепленные к пароходу, и поволокли караван вниз по течению большой реки, жизнь пошла веселая и запомнилась лучше. Дети играли в прятки меж теса, штабелями груженого на баржи, меж каких-то машин, бочек, лебедек, мешков с цементом, белым порошком, вертели колесики у машин, чего-то строгаали складниками, собирали деревянные кубики, строили из них дома. Доступа в нутро барж никому, кроме команды, не было – там насыпью хранилось зерно, мука в мешках, продукты в ящиках. Только внутрь одной бо-ольшущей, будто дом, баржи разрешено было спускаться женщинам и некоторым пожилым мужикам. В той барже везли коров и коней. Коровы громко, на всю реку ревели, и конвоирам объяснили, что в коровах горит молоко оттого, что они не доены. Разрешено было доить коров и подрезать им и лошадям копыта, потому как от постоянной неподвижной жизни, от мокрых плах на копытах животных делались наросты, они болели и падали.

Дармовым молоком пользовалась команда парохода, шкипер и матросы с баржи, конвой и, если чего оставалось, – ссыльные. Оставалось много. Неистребимые крестьянские бабы научились в пути настаивать сметану, парить в русской печке в шкиперской будке творог и даже сбивать мутовкой масло – ребячья эта работа тоже разнообразила жизнь. Мужики здесь же, на палубе, соорудили шалаши из теса, настелили подобья нар. Оправившиеся от губельной зимовки, молодые девки и бабы, от хорошего харча и вольного, речного воздуха раздобревшие и чего-то захотевшие, заводили знакомства, будто в селе, на вечерке, гуляли по палубе, угощаясь прошлогодними орехами, купленными на берегу, уединялись в вечернее и ночное время в известных лишь им местах. Но особо-то на барже не разбежишься. Парнишки и девчонки подглядывали за полюбовниками, перенимали опыт старших и, когда осенью, поселенные на заполярный берег, девки и бабы начали сплошь рожать, кулацкие дети могли хоть в школе, хоть где ответить, что детей находят не в капусте. Отнюдь!

Во время погрузки дров на топливо и двух длительных остановок каравана на ремонт парохода, на замену разбитых деревянных плиц двигательного колеса, помпы-качалки и рулей на баржах начальник конвоя, которому хитрованы-переселенцы отослали на пароход самую ядреную молодку – «постираться», – разрешил конвоируемым сойти на берег за черемшой, щавелем, саранкой и целебными травами. Ребятишкам, у кого имелись крючки, дозволялось поудить с берега. Мужикам, научившимся в пути делать домовины, похоронить тех, кто, изнурившись зимою, заболел и покинул не ко времени сей лучезарно изливающийся над рекою свет. Отходы в любой жизни, в переселенческой тем паче неизбежны, и оставались мужики и бабы русские, чаще – дети и старики, никем не призретье, по-христиански в вечный путь не снаряженные, в далекой неприветливой стороне спущенные в ямы меж разрубленных и разорванных кореньев. Ставился общий крест над ними, и капитан парохода кроме отвального гудка давал дополнительный, длинный. Угрюмо звучал над тайгою и рекою гудок. Все кроме партийных конвоиров стояли, сняв фуражки, шапки, глядели на удаляющийся берег с общей, воистину братской могилкой. Боясь завять в голос по покойным, бабы затыкали рты фартуками. А бояться переселенцы не переставали даже на караване, и было чего бояться.

Какой-то мужик или парень-лиходея испортил так хорошо мужицкой изворотливостью налаженную путевую жизнь – забрался в трюм и украл оттуда ящик с вермишелью, а также женское пальто с беличьим воротником. Все: и переселенцы, и конвой, и пароходный люд – недоумевали: ну ладно, вермишель – сварить и съесть можно, хотя питаньем в пути люди были обеспечены нормальным, да и самообеспечивались хорошо молочными продуктами, рыбой, даже мясом. Один конь упал от копытки в трюме, мясо разделили, шкуру высушили, на подстилку употребили. Но пальто-то, пальто зачем брал ушкуйник проклятый, когда и жены-то у него нету, пропала у него жена, пока он сидел в тюрьме за какое-то тоже, видать, темное дело.

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
Мужика или парня того конвоиры расстреляли во время остановки, прямо на берегу. Начальник конвоя велел всем переселенцам – это тыщи две, если не три, от мала до велика выйти на палубу и смотреть, как беспощадно советская власть карает преступников, и добавил, что раз добра люди не понимают, пусть глядят и на ус мотают...

Раздетый до исподнего мужик или парень стоял на камнях, его шатало. Когда подняли конвоиры винтовки к плечу, с барж закричали смертнику: «Перекрестись! Перекрестись!..». Но приговоренный или не успел, или не захотел перекреститься. Пули из четырех винтовок свалили человека на камень. Народ на баржах шатнулся, бабы дико закричали. Начальник конвоя не велел закапывать преступника, приказал выжечь на доске в кочегарке каленой кочергой позорную надпись: «Расхититель народного имущества» и положить ту доску расстрелянному на грудь.

Остатный путь до намеченной цели прошел в строгости. Молодому начальнику конвоя вернул на баржу, игравшие на гармошках и пение прекратил, гульбу, принимающую бедственные размеры, пресек. После одиннадцати вечера отбой – кто высунет нос, в того стрелять без предупреждения. Выход на берег кроме парнишек с удочками всем остальным запрещался; оправка и варение еды по сигналу – в одни и те же часы; мытье голов и тел горячей водой – по особому распоряжению; похороны покойников на берегу запретить, ежели же таковые появятся – привязывать к их ногам тяжести и выбрасывать за борт. Хватит! Довольничались! Если с вами обращаются, как с людьми, – людьми и будьте!

Самое большое горе постигло ребятишек – капитан парохода обещал экскурсию по пароходу, даже по машинному отделению – допустить сулился, хотел прочесть лекцию об истории своего парохода – все это само собой отменилось. И ругали, ох, как ругали переселенцы ушкуйника того, слязвившего вермишель и пальто, так ему и надо – говорили, – пусть теперь валяется не призретеный Богом и людьми на камнях, пусть его вороны клюют.

Сказать, что все приказы-указы выполнялись досконально и буквально, – нельзя. Народ же русский каков? Он все устои расшатает, любые препоны прорвет. Начальника конвоя, шибко запившего после происшествия, капитан парохода – добряк – и нечаянные посыльные с баржи склонили к мысли, что с неподшитым подворотничком, в несвежем белье, в невытых портянках, при сопливом носовом платке жить и быть столь важному человеку, в не убранной к тому же каюте, за неухоженным столом и постелью – не личит. Начальник конвоя, после некоторых раздумий, вернул к себе молодому, а почувствовав слабину начальника, и конвой помягчал, однако прежней лафы уж не было, опять ночная стрельба случилась, якобы по очередному лиходею, пытавшемуся забраться через люк в баржу, на этот раз с мешком – за пшеницей. Злоумышленник упал за борт, погрузился в пучину и оказался «ничей» – никто из переселенцев не признался в утечке родни, никто как бы не хватился человека.

Разгрузка на низком, тальником поросшем берегу, где карандашиком торчала и курилась железная труба, а вокруг нее так и этак большей частью недостроенные помещения, месиво комаров, заживо съедающих людей. Сразу же за трубой и меж строений – хилый, поврежденный лес, большей частью еловый да березовый, табуны голоухих ребятишек и собак, чернота уток на реке, даже на лужах, в озеринках, нехороший, удушливо-парной воздух «отдающей мерзлоты», от которого тошно, даже склизко в горле и в голосе, – вот и все первые впечатления.

Затем суета, работа, быстро надвинувшаяся осень, в середине сентября снегом порснувшая и к концу октября согнавшая все суда и всех птиц на юг. Разом грянула зима, морозная и ветреная. Убавила она половину переселенцев, смахнула их с берега, вымела в лесотундру, где день и ночь работала команда с кирками, ломami и лопатами, выбивая в стальной тверди мерзлоты широкие котлованы, глубиной аккурат такие, чтобы из них распластанно брошенный человек не высывал носа. Старались в ямины поместить человеко-единиц как можно больше. Затем гусеницами тракторов приминали могилы, чтобы не только носы, но и скрюченные цингой руки и ноги не торчали из серебрящихся комков, сизых от раздавленной мерзлой гулубики.

Тут, в Заполярье, не до нежностей и удобств. Выжить бы.

Большая, основательная семья Хахалиных как-то быстро и незаметно изредилась. Умерли старики и с собой уманили самых уж размладших внучат. Когда отца коляши под конвоем увезли еще дальше, на какие-то «важные» работы, будто сломилась

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
матица в избе – не стало и матери. Все посыпалось и рухнуло до основания – цинга сразила. Остался Коляша на руках старшей сестры, уже здесь, в Заполярье, дважды сходившейся с мужиками, чтобы иметь «опору в жизни», и была та опора опорой иль не была, но дети от нее появлялись. В барачной беленой комнате однажды застрял «ирбованный» с наколками на руках, на груди и даже на заднице – он-то и приучил Коляшу к немудрящей музыке. В городке образовался детприемник, сестра взяла Коляшу за руку и отвела туда, сказав на прощанье, что ей бы со своими чадами как-то выжить и управиться.

Обжились они, поправились. «Ирбованный» оказался крутым работягой, крепко заколачивал на лесопогрузке, срубил дом у озера, но и пил, и жену поколачивал тоже крепенько. Коляша изредка заходил к родне и с удивлением обнаруживал подросших кулачат с порченными зубами и вновь ползающих и ковыляющих малышей-племяшей вокруг стола – неистребимое отродье. «Ирбованный» был к Коляше, как, впрочем, и ко всем другим людям, приветлив, учил его играть на балалайке и на гармошке, давал ему рубль на конфеты и однажды подарил новенькую книгу, приказал ее прочесть, а потом рассказать содержание. «Ирбованный» был грамотный, читающий, совсем пропащий человек, он и Коляшу погубил, купив ему в подарок «Робинзона Крузо», – навсегда погрузивши парнишку в пучину такой завлекательной книжной жизни, из которой ни умная школа, ни вот эта непобедимая армия не могли его вынуть.

Старшину Растаскуева больше всего поражало и потрясало, что какой-то сопляк Хахалин в красном уголке читает газеты, листает журналы и знает наперечет десяток тех книг, что выставлены на полке, читает, конечно же, исключительно для демонстрации умственности и разложения посредством культуры армейского контингента, находящегося в составе вверенной ему роты. Скоро, однако, старшина Растаскуев достиг своей цели – никто, в том числе и зловредный грамотей Хахалин, к газетам и книгам не притрагивался, не пачкал и не рвал их – недосуг было.

А «ирбованный», в первые же месяцы войны взятый на фронт, слышно было, командовал ротой, получил звание Героя за сражение под Москвой. Во всяком разе, писала в письме старшая сестра, жить с ордой сделалось полегче, ей за мужа идет пособие, и сам он нет-нет и пришлет денег с фронта, один раз даже прислал посылку с мануфактурой – на ребятишек, прислал и вторую посылку, но в ней оказались только красивые книги, которые он приказал беречь до его возвращения.

Ну, что еще вспомнить? Где и чего наскрести такого, чтобы поменьше болели лицо и кости, и забылось бы все, что было и есть вокруг. Детдом? Там было много презанятого и интересного. Но ярче всего помнились морозные, «активированные» дни и ночи, когда в школу и на работу не идти. В те ночи от морозов цепенел заоконный мир, но небо шевелилось, двигалось, фантастически нагромождались на него торосы, груды и глыбы льда, каких-то мерцающих теней, хрустальных столбов и колонн, бросая иль спуская на землю тот леденяще-мерцающий свет, от которого земля казалась совсем пустынной, обезлюдившей, нежилой. В такие ночи тепло от беспрерывно топящихся печей, уют детдомовского жилища, пусть и казенный, пусть и убогий, казался тем раем, о котором все время нравоучительно говорили старшие: «Государство заботится о вас, обеспечивает всем, государство и советская власть хотят, чтобы вы выросли истинными патриотами своей Родины, наш любимый и родной вождь все делает для того, чтобы вы не чувствовали себя сиротами...»

И не чувствовали! И не знали! И не ощущали! Жили и жили на свете беззаботно, весело, как и подобает жить в детстве. Ругались, конечно, дрались, отлынивали от уроков и всяких там разных занятий, когда надо сидеть смиренно и слушать.

Все было. Все было. Но лучше всего и памятей, когда в самую большую, девчоночью комнату сбивалась братва, еще не дотянувшая годами до тех, что уже вовсю блатарили, и среди них начинающие преступники, гордившиеся своим ранним созреванием, – они не ломались в большую комнату, презирая малышня, им некогда было, они занимались серьезными делами: карманной тягой, бесплатным проникновением в кино, посещением рабочих общежитий, где всегда весело и вольно, если погода позволяла, шатались по городу, по магазинам, по столовым и всяким другим присутственным местам – любимое это занятие людей, привыкших к безделью, и просто неодолимая тяга звала, тянула нарождающийся класс неприкаянных людей в темные переулки, к бродяжничеству, к потаенным, рискованным делишкам. Детдома и разного рода приюты, как и школы наши, любят хвастаться, сколько выдали они стране героев, ученых, писателей, артистов, летчиков и капитанов, но общественность скромно умалчивает, сколько же воспитательные заведения дали



Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
родине убийц, воров, аферистов и просто шатучих, ни к чему не годных, никуда  
кроме тюрьмы не устремленных людишек.

...Сдвинув койки, повелев малому населению ложиться в ряд, Венка Окольников и Коляша Хахалин покрывали улегшихся сперва холодными простынями, затем одеялами и поверху уж всякой одеждой, какую удавалось раздобыть на вешалке. С дальнего боку залезал под укрытие и подтыкался Венка Окольников, ближе к печке-голландке и двери вкатывался, точнее, лепился на край кровати Коляша Хахалин. Какое-то время все лежали, надыхивая тепло и привыкая к положению среди лежачего общества. К Коляше, как только он проникал под одежду, залазила головой под мышку Туська Тараканова, мордочкой похожая на поросенка, и замирала в ожидании чуда – Коляшинных сказок.

– Ну, давай начинай, – зывали из темноты, тревожимой позарями.

Коляша, внимая голосу народа, начинал собирать в кучу все, что вычитал, увидел, на уроках услышал или сам придумал, – плел он всякую небылицу, мешая королевичей с царями, маршалов с рыцарями, мушкетеров с лейтенантами, медсестер с принцессами, принцесс с продавщицами. И притихшая в ночи, разомлевшая от тепла и его сказок, переполненная любовью ко всему доброму публика тихо отходила ко сну. Первой начинала похрюкивать под мышкой Коляши, мочить ее сладкой слюной Туська Тараканова, затем и остальные отлетали в детский, уютный сон. Напуганные, нервные дети и те, кто мочился под себя, – они боялись пустого коридора и полутемного, пропахшего мочой и карболкой туалета, – в сопровождении Венки или Коляши семенили в отхожее место, и их, поругивая, пускали обратно в нагретую постель. И снова раздавалось требовательное: «Дальше-то че?», – и, напрягая свою голову, Коляша давал и давал, под собственный голос постепенно расслабляясь и засыпая.

Но обязательно находились малый, чаще малая, при которой кто-то кого-то рубил, резал, были и такие, как Коляша, кто и расстрелы зрел. Эти засыпали долго, мучительно, бились во сне, стонали, вскрикивали – «наджабленный народ», – говорили про них и про себя спецпереселенцы.

Унялись все. Можно спать и сочинителю, но он еще какое-то время лежит, вслушиваясь в дыхание детей, в похуркивание Туськи, и смотрит в желобок рамы, которую вверху еще не достало, не запечатало снегом, чувствуя, ловя взглядом голубой свет, мерцающий, будто на экране немого кино, ощущая счастливую усталость хорошо поработавшего, людей умиротворившего, детей утешившего человека.

Вот это и были самые дорогие в его жизни часы и минуты, с этим ему жить, с этим терпеть все невзгоды и преодолевать беды. Остальное все, как у всех людей. Но, кстати, и было-то детдомовское содружество, ночная сказка не так уж и долго.

В детдоме из пионервожатых в воспитатели выдвинулась кучерявая девица лет восемнадцати и начала бурную деятельность, организовала много кружков: МОПра, ДОПра, содействия братским народам, угнетенным оковами капитализма, кройки и шитья, хотя сама не умела ни шить, ни кроить. Боевые выкрики, марши, песни разносились из красного уголка: «Нас не трогай, и мы не тронем, а затронешь – спуска не дадим, и в воде мы не утонем, и в огне мы не сгори-ы-ы-ым...» Она-то, новая воспитательница в матросском костюмчике с юбкою в складку, с косой, увитой наивной розовой лентой, и обнаружила ночное лежбище ребят в девчоночьей комнате.

– Эт-то что такое?! – взревела возмущенно воспиталка. – Это ж безнравственно! Это ж недопустимо в советском детдоме! – и разогнала компанию.

Кэпээшники, будущие клиенты исправительных лагерей и тюрем охотно разъяснили несмышленной братве, что такое безнравственность. Узнали, что они не братья и не сестры по несчастью, что они девочки и мальчики, у которых есть различия не только в одежде, в прическах, но и в прочем, например, половая разница: у парнишек – чирка, у девчонок – дырка, и никакая они друг другу не родня. С тех пор сделалось в детдоме пакостно: парнишки начали подглядывать за девчонками, девчонки за парнишками, шпана прорезала дыры в деревянных стенах не только детдомовского, но и школьного туалета.

Сгорела высоконравственная воспиталка совсем быстро и неожиданно. Будучи песельницей, танцоркой и вообще вертижопкой, она очень быстро справилась с

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
секретарем горкома комсомола Гордеевым, отбила его у секретарши. Молодоженам дали половину итээровского домика с двумя комнатами и кухней. Молодая жена не умела и не хотела вести дом, у нее в жизни были более крупные задачи, и приспособила она детдомовских девчонок в уборщицы. Как-то собрала она ребят на спевку у себя дома, но умысел у нее был, чтобы и полы у нее вымыли певцы, и половики выхлопали, и вообще прибрались. Во время уборки девчонки вывели из-под кровати с пружинами побывавшие в эксплуатации гондоны и унесли домой, где парни их надули и бегали по коридору будто с праздничными шарами, да и напоролась на директора детдома.

– Что это за пакость? – спросил директор.

Бывалые кэпээшники охотно и популярно объяснили директору, что это не пакость, это гондон, что по-французски значит презерватив, одевается он на хер во время полового сношения для того, чтобы женщина не забеременела. Пусть директор насчет заразы не беспокоится, найдя гондон на помойке или за штабелями на причалах, парнишки их выворачивают, прополаскивают и только после этой санитарии надувают ртом. При надувании советские презервативы лопаются, но иностранные – разноцветные – доходят до размера праздничных шаров, и на рыле у них обнаруживается нарисованная тигра, которая при большом ветре шевелит усами, так что с этими веселыми изделиями вполне можно ходить на первомайскую демонстрацию...

Воспиталку перевели в гороно – методистом – есть чему ей учителей учить, в первую голову учительш.

«Ах, детство, детство! Нет к тебе возврата, не возвращается оно, зови или не зови, и ничего-то не вернуть обратно: ни игр, ни дружбы, ни любви...» – пошел плестись стих в голове Коляши Хахалина, однако сон, все утишающий, всех утешающий, сошел на него, и оборвались нехитрые воспоминания, и стих оборвался, только боль осталась: ломило лицо, болела голова, из носа и разбитых губ сочилось на подушку – били беспощадно, так вот врага-фашиста били бы, так он давно бы уж нашу территорию очистил.

Раньше всех в дежурной комнате появился сам комбат, ходил, искал чего-то. Коляша хоть и лежал, накрывшись одеялом с головой, все чуял. Комбат отбивал в полку последние дни, потому что стрелял в свою жену из нагана, прилюдно стрелял, в спортивном зале, когда жена его играла в волейбол, азартно взвизгивая при каждом ударе по мячу. Она спуталась с каким-то более молодым, чем ее муж, офицером, вот комбат и решил пришить ее, да рука дрогнула. Комбата надо было судить и строго наказать, но жена его из госпиталя прислала записку в штаб: «Прошу ни в чем не винить моего мужа Генечку. Это святой человек». Решено было комбата от должности отстранить и, от греха подальше, отправить на фронт.

Ушел комбат, явился командир автороты и ночной дежурный, уже сдавший противогаз другому дежурному.

– А ну, покажись, покажись, воин! – скомандовал командир роты.

Коляша открылся. Командир автороты, поглядев на него, почти с восторгом сказал:

– Эк они тебя отделали!

Ночной же дежурный, младший лейтенант, все возмущался:

– Они ж его за руки держали! За руки! Это ж подло!..

– Ну, заладил: подло, подло, – отмахнулся командир роты. – Он, и по рукам скованный, сумел выбить два зуба Растаскуеву! А дай-ка ему волю.. Н-на-а-а, морда-то евоная огласке не подлежит... чугунка и чугунка... н-на-а, – соображал командир роты. – На гауптвахту не отправишь, затаскают, н-н-на-а-а. Надо будет его где-то здесь прятать...

Завтрак и обед Коляше принесли в дежурку. Никто его пока не беспокоил, и ни на одном лице не видел он себе осуждения, даже наоборот, один конопатый солдатик торопливо молвил: «Молодец, кореш!» – и кинул ему коробок с махоркой да с тремя спичками. Не знал солдатик, что Коляша некурящий, значит, не из ихней роты – проявляет солидарность в борьбе за правое дело. Приятно это.

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevictor.ru](http://astafevictor.ru)

После обеда появился в дежурке сытый и хмурый чин в пепельно-серой мягкой шинели с малиновыми петлицами, поднял солдата с кровати, пригвоздил его глазами того же, шинельного цвета к месту. Долго, испытующе-презрительно смотрел на него. Сказать, что так смотрит сытый кот на пойманную мышку, или та же тигра – на лань, значит ничего не сказать. Во всей тучной фигуре, в сером беззračном взгляде военного дяди проглядывало всесильное над всем и над всеми превосходство. Будто новоявленный Бог, утомленный грехами земноводных тварей, смотрел он на эту двуногую козявку, посмеившуюся занимать его внимание, отвлекать от важнейших государственных дел и вообще маячить перед глазами.

Когда-то давно, еще на севере, смотрел Коляша в холодном деревянном кинотеатре немой кинофильм, в котором мужичонка Поликушка, отправленный с деньгами в город, оные деньги пропил и предстал пред грозные очи хозяина, графа или князя, тот тоже ничего не говорил – кино-то немое, лишь смотрел на Поликушку, и так смотрел, что мужичонка, а вместе с ним и все зрители кинотеатра, большие и малые, – ужимались в себе, втягивали голову в лопотину. Коляша тоже хотел стать меньше, незаметней, но изо всех сил, Богом, отцом и матерью данных, старался стоять он прямо, не втягивать голову в плечи, не гнуться, чего, видать, как раз ждал и хотел этот барственно-важный военный сановник, привыкший повелевать, подавлять, сминать, в порошок стирать жертву. Не дождавись желаемого, военное сиятельство зацепило сапогом табуретку, подпернуло ее к себе, расстегнулось и, утомленно сев посреди комнаты, открыло коробку душистого «Казбека» и опять же утомленно, опять же брезгливо приказало:

– Рассказывай!

– Чего рассказывать-то? – Коляша чуть не ляпнул под впечатлением ночных воспоминаний: – Сказочку, что ли?

– О себе. Все рассказывай, как на исповеди.

«Исповедник, н-на мать», – усмехнулся Коляша. На севере, в проклятом и любимом городке, в комендатуре таких исповедников полных два этажа сидело. Поначалу они всех, от мала до велика, на исповедь волокли, после исповеди – кого домой возвращали, кого в лесотундру – на убой. Однако утомились и они. Перед войной старосты барачников ходили на правед, потому как из-за отвлечения рабсилы на собеседования и маршей в лесотундру падала производительность труда, тогда как по заветам Сталина, по лозунгам ей надлежало стремительно расти. Старостами барачников никто не соглашался быть, тогда их принялась назначать сама комендатура, отчего старосты сплошь были лютые. Играет братва в коридоре барака в бабки или в чику – на дворе-то каленый мороз, вдруг вопль: «Староста идет!» – и вся ребятня бросается врассыпную. Попадешь на пути, виноват – не виноват, староста непременно за ухо на воздух поднимет, орать начнет малый – пинкаря ему, стервецу, в добавку за то, что играет, шумит, а за него человек крест несет, если жаловаться вздумаешь, родители добавят – не попадайся на пути властей.

Коляша был краток и сдержан в повествовании о своей жизни. Выслушав его, военный чин достал еще одну папиросу «Казбек», снова долго, как бы в забывчивости, стучал ею об коробку, медленно прижег, выпустил дым аж из обеих ноздрей в лицо солдата, босого, распоясанного, безропотно припавшего к холодному каменному полу. От дыма Коляша закашлялся.

– Не куришь, что ли? – сощурился важный начальник.

– И не пью, – с едва заметным вызовом ответил Коляша.

– Старообрядец? Кержак?

– Как имел уже честь сообщить, я из семьи крестьянской, значит, верующий, кержаками же, смею заметить, зовутся не все старообрядцы, только беглые с реки Керженец, что в Нижегородской губернии.

– В какой, в какой?

– В Нижегородской.

– Нет такой губернии. Есть область. Горьковская.

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
– Когда двести почти лет назад старообрядцы уходили с реки Керженец в сибирские дали, никакого Горького на свете еще, слава Богу, не было, да он и не Горький вовсе, он Алексей Максимович Пешков.

– Вот как! – озадачился начальник, поерзал на табуретке, шире распахнулся – голопупый сосунок, с которым он может сделать все, что ему угодно, подначивает его, чуть ли не подавить стремится в интеллектуальном общении. Ну, на это есть опыт, метода имеется. Сокрушенно покачав головой, начальник со вздохом молвил: – И вот с такой-то нечистью воевать, врага бить? Просрали кадровую армию, ныне заскребаем по селам, выцарапываем из лесов шушера в старорежимной коросте, а шушера вон за штык, боем на старших, да еще умственностью заскорюзлой ряды разлагает!

«Если бы не эта шушера, тебе, рожа сытая, самому пришлось бы идти под огонь», – подумал Коляша, но за ним была мудрая и мученическая крестьянская школа. Наученный терпеть, страдать, пресмыкаться, выживать и даже родине, их отвергшей и растоптавшей, служить, мужик российский знал, где, как ловчить, вывертываться.

– Оно, конечно, – поникнув головой, молвил Коляша, обтекаемыми словами давая понять, дескать, меры, которые надлежит к нему применить, он и сам не в состоянии придумать.

Начальника ответ не удовлетворил, но покорность тона, униженность, явно показная, все же устроили, все же оставили за ним сознание превосходства над этим говоруном-бунтарем, он приказал дежурному запереть его покрепче, а тому олуху, Растаскуеву, в роте не появляться, пока не вставит зубы, обормот этот – служака кадровый, нужный армии. Здесь же его...

Военный начальник не хотел огласки. Ребята сообщили – младший лейтенант во всеуслышанье талдычит, что это нечистое дело он так не оставит – чтобы в самой справедливой, самой передовой рабоче-крестьянской армии били человека, держа за руки.

Вечером Коляша оказался под лестницей казармы, в помещении с полукруглым сводом и оконцем полумесяцем. При царском режиме подлестничное это помещение с кирпичными стенами и сводом, с бетонным полом предназначалось под кладовку с фуражом, ныне же туда складывали метлы, лопаты, голики и прочий шанцовый инструмент. Лопаты, метлы и все прочее из кладовки унесли, пол подмели и на ночь кладовку замкнули, оставив Коляшу в телогрейке, в расшнурованных ботинках на одну портянку. Кладовка не отапливалась и ни к чему теплomu не примыкала. Всю ночь Коляша не спал, делал физические упражнения, приседал, отжимался и к утру остался без сил. После подъема его сводили в туалет, выдали миску с половником каши, кусок хлеба, в ту же миску, которую Коляша вылизал до блеска, плеснули теплого мутного чая.

Коляша не выдержал, прилег и сразу же почувствовал, каким вековечным, могильным холодом пропитан бетонный пол – хватит его здесь с его ослабленными легкими ненадолго, – пока сойдут с его рожи синяки и бунтаря можно будет вывести на люди, перевести его на гауптвахту, он уже будет смертельно простужен.

Но, но тут вступил в действие Игренька и Господь. Игренька был всех ловчей и хитрей не только в этом полку, но и на всем свете, а Господь – он всегда за покинутых и обиженных.

Сразу же после начала теоретических занятий и работы на тренажерах в техническом классе курсантов распределили по машинам и передали во власть шоферов-наставников. Пара курсантов попала и к шоферу по прозвищу Игренька. Прозвище шофер получил задарма. Он звал Игренькой свою машину-«газушку» и часто, хлопая по звонкому железу капота, восклицал: «Ну, как ты тут, Игренька? Не замерз? Не отошал? А вот сейчас мы тебя овсецом покормим, маслицем подзаправим – и ты сразу заржешь у нас и залягаешься». Машина, ровно бы слыша и понимая слова своего хозяина, все так и делала: ржала, попукивала, брыкалась.

Сам Игренька, Павел Андреевич Чванов, невелик ростом, но уда-ал, ох, уда-а-ал! В нарушение устава носил он кубанку с малиновым верхом, то есть в расположении полка носил он шапку и все, как положено по уставу, надевал. Однако, выехав за проходную, доставал он из-под заду кубанку, распахивал бушлат, под которым была у него боевая медаль за Халхин-Гол и множество значков, вделанных в красные

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
банты. Человек он был сокрушительно-напористого характера, неслыханной мужицкой красоты, страшной шоферской лихости. Его безумно любили женщины, почитали мужчины, но в полку с ним сладу не было. Чтобы досадить Игреньке, как-то его обнизить – прикрепляли к нему самых распоследних курсантов-тупиц, чтоб, когда будет экзамен, не зачесть ему выполнение задачи, снять с машины и отправить на передовую.

Игренька всю эту тонкую политику ведал и плевал на нее. Получив в свое распоряжение Пеклевана Тихонова, который не помнил даже имя своей жены – «баба и баба» говорил, – еще в трех, может, в четырех поколениях ему надлежало ездить на быках, прежде чем пересаживаться на машину, а также и Коляшу Хахалина, коий во всех бывших и последующих поколениях способен был ездить и летать только в качестве пассажира, наставник тем не менее духом не упал. Игренька бодро заметил, что бывали у него стажеры и тупей, и глупей, однако ж он их в рулевые вывел, на фронт голубков пустил – там уж Всевышний им будет наставником, может, и сбережет, на путь истинный наставит.

Главное, считал Игренька, научить стажера рулить, мотор же постигнуть его горе заставит. И учил, ох, как учил Пал Андреич курсантов, в хвост и в гриву учил, беспрестанно материл, и все это, будто в мячик играя, мимоходом, необходимо. Какой человек! Человек-то какой! «Много народов у Бога, а человеков – по счету», – говорил Пеклеван весомо, имея в виду своего наставника. Обнаружив, что стажеры у него некурящие и табак их в кабине душит, бросил курить Пал Андреич. Бросил и все, хотя мучался при этом. Выпивать, правда, бросить он не мог – это было выше его сил. Пил каждый вечер помногу, но никто его пьяным не видел и поймать с вином не мог.

И вот с Павлом-то Андреичем Чвановым, Игренькой то есть, пара блатных – так звал своих курсантов наставник, – здорово училась ездить по широкому полигону, начиная делать вылазки в ближние окрестности, даже и в город – чтобы постигнуть мудреные правила уличного движения. Зачем вот они надобны на фронте, где, как полагали курсанты, да и сам наставник, хвативший войны на Халхин-Голе, никаких правил нет и не будет? В общем-то драгоценные часы, надобные для освоения техники, отнимали, и только, да еще строевая, да еще огневая, да еще политзанятия, да уборка – приборка гаражей и территории, да еще мойка машин – вот тут учись-вертись.

Павел Андреевич, или товарищ старший сержант, говорил: горе намучит, горе и научит, там, на фронте, пока научатся, хватят ребятки лиха, много машин и голов своих потеряют. Пал Андреич главнее всего ценил в человеке расторопность, и Пеклевану от него крепко доставалось. Она, она, расторопность, и спасла Коляше жизнь.

Машины автополка часто помогали городу и сельскому хозяйству, да большая их часть, почитай, в дальних и ближних командировках и пропадала, за что и обламывалось полку разное довольствие, и питаньишко у курсантов было сносное. Хватившие горя и голодухи в стрелковых и других частях, парни и мужики говорили, что здесь, в автополку, жить можно, здесь условия, как при царе. Ну и, само собой, приворовывала шоферня, натаскивала и курсантов воровать, но не попадалась. Попадались все же, и довольно часто, тогда наставника вместе с курсантами снимали с машин, судили скорым, деловитым судом и отсылали на фронт. Но коли фронта все равно не миновать, то что ж того суда и бояться? У Пал Андреича вон на шее золотая цепочка с подвеской сердечком, зуб золотой и новенькие часы на руке. Есть у него кроме кубанки и всего этого приклада костюм, чесанки, гармошка. Все это находится в надежном месте, у какой-то шмары, которую Пал Андренч сулил показать ребятам, но пока еще не показал, еще не до конца проникся к ним доверием. В полку Пал Андреич почти и не жил, в столовую ходил «для блезиру», как говорил Пеклеван, часто и вовсе не ходил, приказывал своим блатным стажерам сходить с котелком на кухню, получить суп и кашу, да и выхлебать – все силенки прибавится, скоро на капремонт вставить, двигатель подымать, а он сто двадцать кг весом, да и другие части машины тяжеловаты.

В середине зимы почти все машины автополка были брошены на вывозку зерна со складов и зернотока недалекого от города совхоза. День-другой ездили курсанты, лопатами до ломоты в костях помахали, грузя зерно, и стройность работы военной колонны стала пропадать, где машина забуксует, какая и вовсе сломается, где наставник-шофер заболевает, где доблестные курсанты в город, на базар смоятся, и ищи их, свищи...

Был на складах, точнее меж складов-сараев, бункер, подвешенный в виде бомбы, полный зерна. Выдерни заслонку – и зерно потечет в кузов, машина моментально наполнится, но девица, справная телом, сидящая над этой бомбой в застекленной кабине, трещала: «Для экстрэнного заказа! Для экстрэнного заказа, для спэцзаказа!» Ей, заразе, и начальству совхозному не жалко дармовой солдатской силы – ломи, военный, вкальвай, а цаца с покрашенными губами вверху сидит, серу жует, прищелкивая, да в форточку по грудь высунувшись, кокетничает с наставниками, на запыленных трудяг-курсантов ноль внимания и все хи-хи-хи да ха-ха-ха-а!.. Во жизнь! Во служба..

Игренька проник к ней! Туда, наверх, в кабину проник. Уединился. И чего он там с нею, с царицей зернотока, делал, знать рядовым не дано, однако по лестнице скатывался, свистя патриотический мотив, золотая цепочка с распахнутой его груди исчезла. Рывком развернув и подпятив машину под капслюль бомбы, Игренька махнул рукой – бомба скрипнула и взорвалась зерном.

– Чего хавалы раззявили?! – гаркнул на своих учеников наставник.

Ребята запрыгнули под холодный поток зерна, разгоняя и ровняя его по кузову. Потом машина мчалась быстрее аэроплана в город. Коляша с Пеклеваном брюхами лежали на брезенте поверх зерна, и так их подбрасывало, что удивляться остается, как они не вывалились из кузова на землю.

Паря радиатором, машина въехала в основательно строенный на окраине города двор, спятилась под навес. Курсанты по приказу наставника расстелили брезент и ссыпали на него зерно, остатки выкидали лопатами. Запалились. И, как по щучьему веленью, по ихнему хотенью, вышла из избы молодая женщина в нарядном платке, щурясь от зимнего яркого солнца, подала ребятам резной туесок – они думали, квас, но в туеске оказалось своедельного варева пиво. Работники пили, передавая друг другу туес, остужались. Тем временем Пал Андреич выпустил горячую воду из радиатора, налил холодной и, стукнув машину по капоту, воззвал:

– Н-ну, родимый Игренька! Не подведи! – и рванул за город во всю машинную прыть.

Примчались, успели пристроиться, даже влезть в середину колонны. Царица послала наставнику воздушный поцелуй и всем троим показала большой палец. Ребята принялись орудовать лопатами. На этот раз лопату в руки взял и сам Пал Андреич, работал не работал, но суетился на виду у всех. Пеклеван в работе силен и неустанен, на сообразилровку же туг, однако и он спустя время сказал:

– Коляша! А ведь мы украли машину хлеба. Дело подсудное.

– Молчи знай, нас не спрашивали. Не е .., не сплясывай. Слышал такое?

– Слышал, да все же у меня семья, жана, дети.

– Где она, жена, дети? А фронт уж недалече.

– Оно, конечно, – вздохнул Пеклеван.

И на этом всякие разговоры про всякое постороннее закончились, зато с питанием ребята горя не знали, так и норовили «на практику» попасть, потому как в машине у Пал Андреича для них припасена булка пшеничного хлеба, когда и печенюшки-шанежки, когда и пироги с осердием и всенепременно – туес с молоком! Ох и наставник у Коляши с Пеклеваном, умеет за добро платить добром, да и в беде боевого товарища не кинет.

На вторую ночь Пеклеван с дежурным по двору казармы заволокли под своды кладовки деревянный щит, бросили на него два стежених капота с машины, бушлат с

плеча наставника. Пеклеван вынул из-под бушлата два каравая хлеба – один арестанту, другой дежурному – и выдохнул на ухо Коляше:

– Игренька наш, Пал-то Андреич, пропасть тебе не даст. Шыт и все другое до подъема дежурному сдай, ночью снова притащым.

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
Прошел день, другой, третий. На четвертый, вернувшись с оправки, Коляша увидел на полу кладовки обломок жирпича и брызги стекла. Поднял голову: окошечко-полумесяц выбито. Старшина Олимпий Христофорович Растаскуев вставил зубы, вернулся в роту и вступил в негласный смертельный бой со своим врагом.

«Однако, пропадать мне все же», – заныло, заскулило в одиночестве истомившееся, волосьем от холода обросшее сердце солдата, и тут же красно, как на городском светофоре, вспыхнуло в голове: сбегать из уборной, подняться в казарму и пронзить-таки эту падлу боевым штыком! – но вместе с капотами, бушлатом и хлебом он получил в посылке паклю для затычки окошка и записку: «Держись, парень! Мы тут действуем».

Ну, раз Игренька действует, значит, все в порядке, обрадовался Коляша, и вера его в силу и находчивость наставника не пропала даром. Через неделю, когда синяки почти сошли с лица курсанта, его вернули в роту, где обнаружился другой старшина, из хохлов, вздорный, крикливый, но грамотеев почитающий. Поначалу сдержанно относившийся к ротному бунтарю и как бы между делом заметивший: «Е у нас отдельные личности, устав не почитают, у прэрэканья вступают, даже руку на старших командиров поднимают – так и на их найдётся мощна сила та, армейска дисциплина, – вона усеу голова».

В роте все курсанты уже втянулись в учебу и в армейскую жизнь. Толковые ребята, к технике склонные, на «гражданке поработавшие с техникой, уже водили машины самостоятельно. Наставник у них ездил в машине вместо мебели. Им было не до Коляши и не до старшины. Та же «бестолочь, что пошла в осадок роты, с которой маялись командиры, старшина, наставники, терпеливо дожидалась весны и отправки на фронт. Там уж чего Бог даст – дела и славы иль бесславья и смерти. Курсанты в роте смягчились к Коляше, за его героизм уважали его, но от усталости, не иначе, советовали не лезть больше на рожон, не вступать в бой с беспощадной военной силой, она и не таких героев в бараний рог гнула, хотя, конечно, гниду эту, Растаскуева-то, следовало бы припороть к стене штыком, но лучше гвоздями прибить к доскам...

От греха подальше битого вояку-старшину перевели не только в другую роту, но и в другую казарму. Долго, старательно придумывавший, чего бы сделать Растаскуеву при встрече: плюнуть в глаза, сказать «мудило гороховое» или толкнуть его локтем?... «Ну, че, живой еще? Воняешь?!» – спросить, – один раз столкнулся Коляша со своим бывшим старшиной. Да вместо всего этого опустили глаза, само собой торопливое «Здрасьте, товарищ старшина!» вылетело, и бочком, бочком проскочил Коляша мимо победительно шагающего старшины.

Что-то сломалось, наджабилось, истлело в Коляше и не скоро восстановится. И только природная активность натуры, склонность к легкомыслию, вранью и веселью помогут ему перемочь армейскую надсаду. Игренька, подкармливая и матерясь, настропалил-таки Коляшу и Пеклевана крутить баранку. Ротный старшина, привлечший Коляшу делать стенгазету, которую юное дарование писало от корки до корки, передовицу – так и в стихах, махнул на этого курсанта рукой: «Який з его спрос, вин поэт!..»

Перед отправкой на фронт, на прощанье в роту нанес визит Олимпий Христофорович Растаскуев, руку пожимал курсантам. Коляшу рукой обнес. Вечный настырник, неслух, никчемный человечиска громко, со значением произнес:

– Как жаль, что вы с нами на фронт не едете!

Все курсанты, да и сам Олимпий Христофорович, поняли намек – до фронта не доехав, под колесами поезда оказался бы товарищ старшина.

– Родина и партия знают, кого на какой участок определить, чтоб была большая польза от человека и бойца, – веско, с чувством глубокого достоинства ответил старшина Растаскуев и из казармы величественно удалился.

На фронт ехали, как ехали тогда тысячи и миллионы боевых единиц, не без приключений, не без происшествий в пути. Но об этом все уже рассказано-пересказано, писано-переписано.

Поезд остановился ночью на какой-то многопутевой станции, состав долго волочили, толкали по этим путям, пока, наконец, не засунули в тупик, обложенный черным

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru) снегом. Из-за угольной золы, пыли и шлака сугробы оседали, сплющивались, медленно изгорали внутри, во все стороны из них сочились маслянистые, мазутные ручьи, бурьян по обочинам был сух, переломан и загажен – не первый людской эшелон заталкивали сюда и, конечно, не последний. Откуда-то сверху раздавались команды, перекликались свистки маневрушек, пыхтело, ухало паром, брякало и звякало железо, но из людей к составу никто не приближался. Когда утренний, сумеречный туман, изморозь ли, может, и паровозные пары смешались с серым, неподвижным светом, взору явился и пошел вдоль эшелона, предлагая купить папиросы, мальчик цвета лесной медуницы, и, когда его спросили, что за станция, он уныло молвил: «Станция Пелово – жить хелово».

Так курсанты сибирского автополка узнали, что они уже почти в Москве, днем в самую столицу попали. Их погрузили в старые, разьеженные «ЗИСы» и отвезли к автозаводу имени товарища Сталина, перед которым на площади и вокруг которого стояли тысячи иностранных машин, только что переправленных через океан, собранных на заводе, приготовленных для боевой работы.

«По машинам!» – раздался клич, и курсанты охотно полезли в накрытые брезентом кузова, где были удобные скамейки и кожаные откидные сиденья сзади кабин. «Наз-за-ад!» – раздалась новая команда. И когда курсанты сгрудились на площади, какие-то люди в чистых иностранных комбинезонах криком кричали о том, что курсанты должны сесть в кабины и немедленно, немедленно увезти технику от завода, потому как надвигается вечер, с темнотою могут навестить город дальние немецкие бомбардировщики, и – уж будьте уверены! – автозавод они не облетят, и получится большой костер из этих замечательных машин, морским путем, с риском и боями доставленных из союзной Америки.

Командиры, какие были при курсантах, а было их полторы калеки и все какие-то не горластые, смиренные не такие, как в автополку, они были, на своем рабочем месте, пытались объяснить и объяснили наконец, что их курсанты, ли боевые шоферо-единицы, «газушку»-то едва научились водить, что такую громадину, да еще под названием «студебеккер», они и во сне-то не видели, не то что наяву. И притихли заводские громилы, один из них высокого звания, видать, человек, скрытого под комбинезоном, ударил иностранной кожаной перчаткой по колену, выматерился многоэтажно:

– Ну каждый почти день одно и то же. Нам же сообщили, что прибывает эшелон высококлассных шоферов, прошедших специальную подготовку на иностранной технике...

– Высококлассных! Какая ерунда! – простонал кто-то из командиров, сопровождавших курсантов.

– Вам ведь под Калугу надлежит следовать, – горестно произнес военпред. – Здесь и представитель артиллерийской бригады – на приемку приехал, сопровождать вас вознамерился... Товарищ майор! – кликнул заводской чин.

К нему приблизился совершенно подавленный и растерянный майор, махнул рукой возле шапки:

– Слушаю вас.

Они разговаривали долго, и разговор их закончился тем, что курсантов усадили по двое в кабину, ра-аскошную, чистую, крашеную кабину со множеством кнопок, рычажков и указателей, с совершенно великолепными, до пружин не продавленными, упругими сиденьями, на которых ребята охотно качались, балуясь, что дети. В кабины машин не вошли, не влезли, кинули себя мужики, тоже в иностранных комбинезонах, сказали всем и во всех машинах одно и то же:

– Перед вами, рылы немытые, на щитке изображена схема передач скоростей, смотрите на нее и на меня, учите переключаться, пока я вас доведу, и запомните, у «студебеккера» не четыре, пять скоростей, одна – вспомогательная, для передачи на дополнительную пару колес.

Господи, Господи! Они с четырьмя-то скоростями не все знали и умели управляться, а тут пять! И что за изучение за пятнадцать минут? А именно столько времени потратили заводские шофера на них и бросили где-то, на какой-то заставе колонну машин. И тогда, сняв с себя шинель, пошел вдоль колонны майор со своим шофером и в каждой кабине, взявши за руку курсанта, положив его ладонь на кругляшок



Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
рычага, учили переключать скорость.

– Нам бы хоть отсюда, из Москвы выехать. – взывал майор уже не к людям, к небесам взывал, – на шоссе бы, на Калужское попасть...

Вечером уже поздним, когда над Москвой красиво всплыли аэростаты, майор посчитал, что достаточно хорошо натаскали они с шофером курсантов, и сипло крикнул:

– По-о-о машина-а-ам! – шофер его уж ни кричать, ни говорить не мог – изошел матом.

– Сели! Моторы завели. Поехали! – махнул белым флажком один сибирский курсант.

флажки те, белый и красный, привез с собою из Калуги майор, чтобы руководить движением колонны. Колонна нешуточная, более сотни машин, и не одни тут «студебеккеры» были, но и «джипы», и «виллисы», и чего только не было.

Уже на первом спуске непослушные машины ударились и рассыпали стекло нескольких фар, иные машины жеребцами выскочили на тротуар, иные лбами уперлись в столбы. Пеклеван, вцепившись в руль, погнался на машине за регулировщицей, стоявшей на перекрестке с флажками. Задавил бы он девушку, но она стояла на посту невдали от завода, бывала в переделках, оказалась резва на ногу и прыгуча – сиганула через чугунную ограду заброшенной церкви. Пеклеван ограду проломил, и Бог, пусть и незримо, но присутствующий среди скорбных святых развалин, мотор грозной машины заглушил.

– Спасибо тебе, милостивец! – перекрестился Пеклеван, – и матери твоей, милости на нас щедро исторгающей, спасибо.

Колонна «студебеккеров» смешалась на улицах и перекрестках столицы, затормозила, запрудила движение. Чернявый офицерик, похожий на тех, что служили при дворе свергнутого царя – показывали таких в кино, – матом не выражался, но грозился отдать под суд всех участников «диверсии» этой, в первую же голову артиллерийского майора.

Объявили, наконец, что колонна арестована самим комендантом Москвы, оцеплена спецвойсками, и как только комендант управится с неотложными, срочными делами, прибудет сюда сам разбираться во всем.

Он и прибыл, комендант-то, за полночь, но не стал ни в чем разбираться. Он привоз с собой два кузова шоферов и, крикнув напоследок властно: «Чтоб духу не было!» – упал в черную «эмку» и умчался. Колонна «студебеккеров», прошив насквозь всю Москву, оказалась в двадцати километрах от столицы, на Калужском шоссе, нацеленная радиаторами вперед, на запад. Тут ее и бросили сопровождающие.

Все курсанты мирно спали в машинах до тех пор, пока не загудело, не застреляло над ними. Выскочив наружу, курсанты увидели вдаль мчащихся, красиво на крыло сваливающихся пару «мессершмиттов», которые обстреляли колонну, но ни одной машины, слава Богу, не подожгли, однако брезентовые тенты кое-где продырявили, кузов одной машины повредили, и оцепиной, отскочившей от борта, ранило в щеку курсанта. Парня перевязали, дали ему маленько спирта – для обезвреживания, и все поняли, что долго стоять тут нельзя, опасно – если не днем, то ночью колонну подожгут. А машины-то бесценные, им предназначено возить по фронту гаубицы, гаубицам же – стрелять по врагу.

В общем-то все разрешилось благополучно. В гаубичной бригаде была целая рота шоферов, умеющих делать все и иностранные машины водить натасканных. Если б майора Фефелова не обманули какие-то высокие, в дело не желающие вникать чины, он бы взял из бригады своих шоферов и спокойно пригнал машины, полученные по военной разнарядке.

Но как же без обмана, без жульничества, без надуваловки жить? Это ж не Страна Советов получится, совсем какое-то другое государство получится, с отсталыми идеологиями, прогнившей системой и дикой эксплуатацией человека человеком. У нас вон как весело все делается! Каждый день и час что-нибудь да новое, неслыханное, невиданное. У нас уж если человек человека не обидят, так хоть насмешат.

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
Мертво спали курсанты в кузовах до самой Калуги. По-за Калугой, в сосновом бору, где еще местами лежал рыхлый снег, возле вздувшейся, мутной речки умылись, прибрались и стали ждать, когда их позовут завтракать или хотя бы обедать. Но никто никуда их не звал, никто на них внимания не обращал. Тогда пошли они делегацией искать майора, пока бродили по бору, много узнали и увидели интересного.

Часть, точнее гаубичная артиллерийская бригада, в которую они прибыли, была снята с Дальнего Востока, из какой-то совсем уж отдаленной бухты. Вояки в ней были еще кадровые, задержавшиеся с демобилизацией по причине дальневосточных военных конфликтов и японских происков – от этого постоянного врага все время ждали нападения и держали на стороже военную силу. Однако, ослабление ли на Востоке произошло после разгрома немцев под Москвой, дипломатия ли обманула косоглазых, дела ли на фронте требовали вливания все новых и новых сил, пришлось через всю страну гнать и везти бригаду с гаубицами устарелого образца, ходовая часть которых, однако, была модернизирована, и с тракторной тяги орудия перешли на тягу автомобильную.

– Красноармейцы и офицеры в бригаде, давно не видевшие гражданских людей, о женщинах и вообще забывать стали, прибыв под Калугу, как с цепи сорвались, – говорил усталый майор, ездивший в Москву за курсантами и указавший им резервную, новенькую кухню в лесу, в которой приготовленное для пополнения варево уже прокисло.

Пока ели, пока пили теплый чай, узнали, что, несмотря на запрет и чирьи, осыпавшие боевую артиллерийскую силу от перемены климата, кинув все на произвол судьбы, утянулись дальневосточники в шибко порушенный город, скрылись в его руинах. Куцые гаубицы, замаскированные, смазанные, и всякое оружие были в полном порядке. Все остальное отдано на волю весенних стихий. В бригаде отчего-то решили, иль опять кто-то надул военных, что вся ходовая часть, изрядно на Востоке изношенная, будет сменена, и на фронт бригада поедет сплошь на новеньких американских машинах, когда как на самом деле выдали «студебеккеры», «джипы» вместо устарелых тягачей, десяток юрких «виллисов» – для командования бригады, политотдела и других военных служб, все же остальное воинство отправится на фронт в прежнем подвижном составе.

Презретьный, в утиль заранее списанный, этот «подвижной состав» стоял на спущенных колесах, где лежал на боку в рытвинах, наполненных талым снегом, где и полуразобран был, две машины из третьего дивизиона, куда зачислили Коляшу Хахалина и его напарника Пеклевана Тихонова, – вовсе куда-то исчезли. Гадать особо не надо было – продали их мирному населению и пропили дальневосточные вояки. Пеклевану машины не досталось, Коляшу наделили «газушкой» с открытым, покоробленным капотом. Сирота-«газушка» уткнулась в глубокую бомбовую воронку, талая вода уже доставала кабину.

Майор Фефелов – человек, переваливший за средние лета, скуластый, изветренный, умеющий сдерживать нервы, отвечающий в бригаде за транспорт и в конце концов уже сформировавший подразделение под названием «автопарк» и возглавлявший его до конца войны, собрал новичков, сказал по секрету, что долго они здесь не простоят, скоро в поход и надо вытаскивать машины артельно. Для начала он выделит два «студера», чтобы вытащить, собрать машины в одно место, и в дальнейшем поможет, чем может. Тех курсантов, что любят и понимают технику, прикрепит к водителям новых тягачей. С теми же, кто слабо подготовлены и годятся в землекопы, писаря, но не в шофера, он устроит практические курсы и, может быть, успеет хоть немного натаскать их.

– Впрочем, лучшие курсы для всех парней впереди, – добавил майор Фефелов, – в боях они быстро всему научатся, кому, конечно, хочется и суждено жить.

Сибирские курсанты объединенными усилиями как-то восстановили, подремонтировали брошенную технику, маленько и поехали вокруг Калуги, дрова подвозили, воду, картошку, и все время запоминали, как ночью ориентироваться в незнакомой местности, на незнакомых дорогах, главное, запомни, водитель или рулевой, как звал Коляшу Игренька, – не потерять из виду идущую впереди машину, не выпускать из зрения белое пятно, стало быть, лист бумаги, наклеенный на задний борт передней машины. Ехать по особому, военному приказу – это значило: сосредоточиваться будут ночами, секретно, фар не зажигать, сигналов не подавать, никуда никому не отлучаться, не курить, если кому невтерпех – смолить в рукав,

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru) прикуривать от кресала, но не от спичек и зажигалок, остановки колонны – по команде, заправка в таком-то месте, оправка там же. За ночь колонна должна проходить от пятнадцати до двадцати километров, любое нарушение правил движения колонны, любое отклонение от инструкций, разгильдяйство всякое – будут сурово пресекаться и караться.

В первую ночь по-старинному, накатанному, мало поврежденному шоссе колонна прошла назначенный отрезок играючи и даже раньше срока явилась к назначенному пункту. Но вот начались дороги русские, сельские, развороченные танками, тракторами, машинами иль конной тягой, хуже того – дороги задичавшие, поросшие травой, которые на военных-то картах прочерчены четко, наяву же слепые, местами совсем не видные, и достало тут военных горемык первым мытарством, наdsaдой и проклятьем войны.

Несмотря на то, что выставлялись по дорогам живые указатели – бойцы с флажками и, в нарушение военной тайны, командирам дивизионов, затем батарей, взводов управления выдавались нарисованные на листах схемы движения на данном отрезке пути и пункты сосредоточения, машины разбрелись по российской путанице дорог. Засидевшиеся в тихой бухте, к тракторной тяге привыкшие водители дурели от скорости и возможностей американской техники, мчались вперед, бросив на произвол судьбы собратьев по боевому походу, спокойно дрыхали в уютных кабинах, пока остальное войско корячилось, волоча по весенней грязи почти на себе отечественные «ЗИСы» и прочий транспорт, которым отечество так гордилось.

Артдивизия, растянувшаяся километров на сто, за ночь сжигала по два бака горючего, к утру не поспевала к месту назначения, и посыльные на машинах-тягачах начинали шастать по дорогам, лесам и оврагам, вытаскивая из грязи издохшую отечественную технику, рыскали в поисках тех, кто заблудился. В небе появлялись и кружились немецкие самолеты – снова не удавалось сохранить военную тайну, снова она, клятая, ускользала из бдительных рядов родной армии.

В гаубичной бригаде имели прекрасные показатели по стрельбе, да и как их не иметь, когда некоторые расчеты прослужили возле своих лайб по шесть лет, знали и любили их больше своих жен, – тут и свинья безмозглая научится стрелять, в движении, однако, дальневосточные сидельцы были слабаки и неумехи. Среди всех подразделений совсем уж ахово обстояло дело там, где за баранкой маялись и маяли машины недавние сибирские курсанты.

Коляша Хахалин из наставлений Игреньки запомнил, что карбюратор засоряется и надо его продувать, зазор и контакты трамлера – чистить следует серебряшкой-денежкой, не давать перегреваться радиатору и двигателю; научивший его накачивать колеса, крутить баранку, кое-как, с грехом пополам переключать скорости Игренька резонно считал, что того вполне достаточно для рулевого. Водителем же, пусть и не классным, умелым же ему никогда не стать – для иного поприща человек рожден.

В пути на фронт Коляша Хахалин превратился во что-то затурканное, запуганное, сон и всякие чувства потерявшее существо. Продувая непрерывно карбюратор, шланги и трубки подачи бензина, он до того этим бензином опился, что уже не чувствовал вкуса хлеба и каши, серебряшку истер о зазоры трамлера до того, что на ней ни серпа, ни молота, ни колосьев, ни даже цифры не виднелось. Плохо чувствуя дорогу колесом, рулевой Хахалин беспрестанно буксовал, и взвод управления дивизиона тащил машину на плечах. Прокляли своего шофера солдаты, толкали его, когда и били. Людей надо и можно понять, в каких условиях они ехали. Однажды ночью разверзлись хляби небесные, запрыгивая в кузов ползущей машины, выпрыгивая, чтобы подтолкнуть ее, солдаты натаскали полный кузов грязи – перегруз. Вовсе стала машина. Лопатами, ладонями, пустыми котелками, касками вычерпывали грязь солдаты, чтобы сдвинуться с места.

А то еще случай получился: толкали, толкали машину солдаты, качали ее, раскачивали, выкрикивали чего-то и постепенно умолкли, не сдвинув с места транспорт свой. «Ну я им сейчас!» – заругался командир взвода управления и, увязая в грязи, пошел в обход машины. Коляша за ним. И зрят они картину: почти по пояс в грязи, упершись плечами в кузов, солдаты спят. Не высыпались в пути бойцы, так чего уж говорить о рулевом Хахалине, который по прибытии в «точку дневки» должен был еще выкопать аппарат, по-русски это просто яма для машины. Уже через несколько ночей пути устав и инструкции нарушались, аппараты копались лишь под «студебеккеры».

Коляше хватало хлопот с машиной. Дела его с каждой ночью, с каждым километром шли хуже и хуже, он быстро задичал, оброс волосьем, обмундирование на нем измазалось грязью и мазутом, вся его труба пропиталась бензином, исхудал рулевой Хахалин, затошал, глаза его покраснели и слезились. Просил он, лично просил майора подменить его, снять с машины – уснет за рулем иль аварию сделает, что тогда? Заменять его, кроме Пеклевана, было некем. Пеклеван-хитрован куда-то делся, говорят, во взвод управления одной из батарей перешел, там комбат любил и собирал к своим орудиям здоровенных, надежных мужиков. Коляше грозили расстрелом, судом, чем только не грозили, а он тупел и опускался все более и более. Машина заводилась долго и капризно. Коляша боялся, страшно боялся, чтоб она совсем не остановилась. Как-то он крутил, крутил заводную ручку и со злости хватанул машину по радиатору этой заводной ручкой, после чего крутанул – и сразу машина завелась, так ребята после того случая несли ему оглобли, дрыны: «бей ее, заразу!» говорили. Коляша бил, но больше не помогало.

Между прочим, заметил рулевой Хахалин, вместе с артбригадой и артдивизией двигалась к фронту какая-то боевая часть со множеством машин, бронетранспортеров, минометов, орудий, и потихоньку вызнал – то движется гвардейская сталинградская армия, и всю-то ноченьку братцы-сталинградцы спокойно спят по лесам, полям и уцелевшим селам, на утре, на самом рассвете, когда весенним туманчиком окутает землю и особенно звонко насвистывают соловьи, армейская техника возникает на дорогах и за час-два делает без ора, паники, потерь техники и пережога бензина рывок на положенное расстояние – несчастные те пятнадцать или двадцать километров.

Это и был один из явственных признаков военного опыта. Дальневосточная же бригада растеряла изрядно техники, людей, рыскала в их поисках при свете дня и получала разгоны и разносы высокого командования. Ну, само собой, бригадное начальство подвергало разносу командиров дивизионов, те разносили командиров батарей, комбаты разносили взводных, взводные – отделенных, отделенные уж не разносили солдат, отделенные матерились и пинались. Сержант Ястребов угодил Коляше пинком по копчику, и теперь Хахалин, сидя бочком, рулит и время от времени ерзает на сиденье – болью в копчике отгоняет сон.

Замелькало так и сяк написанное на указателях: «Мценск», «Мценск», – Коляша заторможенно отметил: старинный русский город Мценск они должны были миновать чуть ли не неделю назад. «Мчимся семь верст в декаду, и только кустики мелькают! – усмехнулся он. Проехали и Мценск – старинный русский город. Коляша у Тургенева, у Лескова и еще у кого-то про него читал. Шибко разбит город – только это и заметил рулевой, работа ж эта проклятая – надо за передней машиной следить, чтобы не оторваться, не свернуть куда не туда, не отстать от колонны. Так ничего и не запомнил Коляша про Мценск. Вот потом, после войны, и рассказывай пионерам о своем боевом пути: где был, чего видел, какими подвигами родину прославил. Всем подвиги подавай! А тут вот главное – не потеряться бы, да чтоб мотор не заглох...

За Мценском вместо деревень таблички пошли и трубы. Где и труб нету. Проехал Коляша одну табличку – Ельцовка иль Ерцовка деревня называлась, в подъемчик дорога пошла, язык сырой высунула. На подъемчике впереди белое пятнышко обозначилось. Обрадовался Коляша пятнышку, среди народа, в боевых рядах себя почувствовал. Но только он обрадовался – пятнышко белой полоской оборотилось, и начала она удаляться. Коляша педаль надавил, газу прибавил, надо бы и на четвертую скорость перейти, устремиться следом за пятнышком, но четвертая скорость – надо вам сказать-заметить, самая у «газушки» коварная – в нее надо попадать с довертом. Ну вот по ровной и прямой дорожке ты шел, шел, а тебе в уголок надобно, вот ты и...

Словом, опять отстал Коляша от колонны и сразу вспотел, и сразу неприятности. Дорога под уклончик покатила. Ну, думает Коляша, тут-то уж я настигну впереди ищущего, счас вот пятнышко увижу. Родимое! Где ты? Появляйся! А вместо пятнышка впереди обозначилась еще одна дорога, то есть не то чтобы дорога, царапина земная, бороздка скорее. Куда вот ехать? По той бороздке ехать иль по этой. Коляша в смятении руль закрутил, влево, вправо, влево, глазом потным отметил: справа в бороздке заблестело, значит, колея это новая набита, вода в нее налилась – весна же, вода кругом. Только бы не забуксовать. Тут он почувствовал, что его понесло, и сразу понял: не колея это, не колея, яма это, скорей всего та, из которой селяне глину брали для печей и разных подмазок. Опытный шофер

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru) чего бы сделал? Раз понесло, так неси уж, потом, благословясь, народом или буксиром машину из ямы добудем. А Коляша, как его понесло, вираж рулем заложил, очень крутой вираж, аж до упору баранки – чтобы по ребру ямы проскочить. И тут же почувствовал: машина опрокидывается, за руль инстинктивно рулевой ухватился, прямо вцепился в руль. Опрокинуться – то он не опрокинулся – скорость малая была и яма невелика, но на бок «газушку» положил. Все двадцать человеческих душ, сонных – то, в грязную воду Коляша высыпал, сверху катушками со связью, лопатами, ведрами, барахлом всяким присыпал. Народ со сна в панику – враг напал, свалил куда-то в холодное, смертью веющее место. Когда бойцы из воды и глины вылезли, маленько опомнились и с криками: «Епмать, епмать. епмать!!!» – на Коляшу пошли, в грудь дула винтовок приставили, затворами клацают. «Да стреляйте! Че уж...» – махнул рукой Коляша. Но тут из тьмы «студебеккер» с оружием возник, из него комбат Званцев выскочил. «Че у вас тут?» – заорал. И охладел народ, давай мокрое отжимать, в другую машину грузиться.

«Кто прямо ездит, дома не ночует», – вспомнилась Коляше еще одна поговорка, где-то, скорей всего еще на родине, в Ключах слышанная. Поняв, что своими силами ему машину из ямы не вынуть, залез он в кабину и, почти стоя, уснул на сиденье, и так крепко спал, что и не заметил, как скатился вниз, на другую дверцу, стекло ботинками выдавил, скомкался в рычагах и педалях, кучкой тряпья лежал меж землей и техникой, об стекла порезался. Едва его разглядели в кабине из присланного на выручку «студебеккера», с возмущением вынули за шкуру: «Бедствие такое, а он, гадюка, спит!..»

После Мценска, будь он неладен, и того хлеще случай вышел. По фаре стрельнули – сама она включилась, или Коляша со сна рычажки перепутал. В фару не попали – мала цель, но трубки радиатора пробили, вытекла вода. Народ пересадили, в ночь увезли, рулевой в лесу остался. Один. Страшно одному. Фашисты и черти всюду мерещатся. Только под утро и поспал маленько рулевой. Застучали, забарабанили в кабину, и он проснулся. Ребята из той же сталинградской армии скалятся, к себе зовут, вместе с машиной. Кашей и сухарями Коляшу кормят, по плечу хлопают. Он и согласился. Налетели двое в фартуках с паяльниками на весу, мигом радиатор заварили, воды в него из лужи налили. Один из тех, что в фартуке, за руль сел и на дорогу машину вывел, газуй, говорит, вслед за

нашей колонной, а колонна на рассвете резво и непринужденно движется. За час с небольшим покрыла те несчастные восемнадцать километров, на которые его родная бригада ночь тратила, потеряв при этом в пути половину машин, когда и с орудиями.

«Повезло мне, – думал Коляша, – в настоящую боевую часть попал, а что машину угнал, так армия – то одна, Красная», – и вызвался подвезти чего-нито. Но командир с технической нашивкой на рукаве и на петлицах, при многих уже орденах, сказал: «Сиди пока в кустах и носа не высовывай. Да помойся и постирайся – вода кругом, а то я гляжу: ты уж бензином ссышь и мазутом оправляешься...» Смешно ему. Юмор.

Но в чем дальневосточная бригада натерела за горький путь, так это в поисках. И тут, в брянских темных лесах, нашли Коляшу умельцы – артиллеристы, «домой» утартали. Там хотели судить и куда-нибудь отправить, под смерть, но Коляша при всем скоплении начальства вдруг психанул и, брызгая слюной не слюной, бензином брызгая, завизжал:

– Да я и не хочу с вами быть! Не ж-жал-лаю! Бросили! Предали! Пропадай! Да в нашем бы детдоме вам за такое «изменничество морды набили!..»

Командир дивизиона удивленно уставился на рулевого.

– Жалко, что нет тут того детдома. Жалко! – произнес он, повернулся и ушел.

А командир взвода управления дивизиона зашипел на Коляшу:

– Н-ну, ты у меня попляшешь! Н-ну, ты у меня попомнишь...

«А пошел ты на ...», – хотел сказать Коляша, но уже выкричался, ослабел, на него сонное смирение накатило. Только рукой слабо отмахнулся, будто паука отогнал, и подался в свою машину, и спал в кабине до тех пор, пока не приспело двигаться дальше.

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
Но сколько по морю ни плыть – берегу быть. Приехали в места сосредоточения, неделю без памяти спали в весеннем, зеленью брызнувшем березнике, по которому вальдшнепы по вечерам тянули, дрозды и другие птахи тут резвились, напевали, нарядные чирки в лужи светлые падали, селезни чиркали и крякали, подзывали сторожких самок. Никто по птице не стрелял, никто не шумел, не демаскировался. Березник этот светлый, углубляясь, переходил все в тот же необъятный брянский лес, смешивался с ним и в нем растворялся. Оподолье ж березовой рощи спускалось к реке Оке и со спотычками об овраги, лога, косолобки и курганы переходило то в чапыжник, то и вовсе в прибрежную, густо сплетенную шарагу. Лес и кустарники прорежены войском, изранены, повалены, загажены. Как же иначе-то, раз человек – засранец, то и засрал все вокруг себя...

Нанеся сокрушительный удар по врагу зимней порой, русское войско, достигнув речных рубежей, выдохшееся в зимнем походе и остановленное немцами, жило на здешних берегах, сводя березник на топливо, не вело не только боевых действий, оно вообще никак себя не проявляло, ни в труде, ни в борьбе. На восемь километров или на все десять тянулась рыжая ниточка полуобвалившейся траншеи, оплывшей по брустверам. К ней вели невычищенные ходы сообщений, от них окопчики и щелки к огневым точкам, которых тут кот наплакал. Войско, заспавшееся, волосом обросшее, задичавшее от безделья, с глухой зимы настойчиво ждало замены и вот дождалось, ушло куда-то, распоясанное, ленью и сном объятые, и шло-то не по грязным траншеям, не по жидко чавкающим ходам сообщения, поверху шло, никого и ничего не боясь.

Враг не стрелял. Враг-фашист укреплялся за Окой. Скоро узнать дано будет: построена там трехрядная оборона, причем первые, наречные ряды обороны сплошь бетонированы, ограждены системой огнеметов, все огневые точки не только укреплены, но и пристреляны, связь, как всегда у немцев, меж линиями обороны и тылами отлажена, что часы.

И тем не менее, командование нового, Брянского фронта именно здесь намечало удар во фланг Курско-Белгородского клина, чтобы уж с маху, когда начнется битва на Курско-Белгородском выступе, отрезать всю массу фашистских оккупантов, да и кончить разом с этой выжигой-Гитлером.

Сосредоточились, как казалось генералам на верхах, – тайно, тихо и скрытно, окопались, изготовились и нанесли артиллерийский удар такой силы, что деревня, стоявшая на крутом, глинисто-обнаженном выступе, сползла вместе с мысом, со всеми постройками и худобой в Оку, да и запрудила ее, что затруднило переправу. Деревня-то вот упала в реку и рассыпалась вместе с холмом, на котором так красиво стояла посередине церковка, но немец-то, враг-то не упал и не рассыпался. Он уже на второй линии обороны вступил в активные бои, наслал авиацию на наши войска, затем и танки – враг не позволял Красной Армии устроить второй Сталинград и где-то еще находил силы для отражения хитрого флангового удара.

День, другой с боями продирались вглубь, и вот громкая победа: взяли старинный русский город Волхов, точнее, развалины его, сразу забегали, заговорили политруки, громкие читки газет и листовок повели, все газеты, все агитаторы кличут на Орел. Орел! Орел! и еще раз Орел!

Между тем дальневосточная артбригада понесла уже первые потери, как ни горько, ни странно – первым погиб комбат Званцев, под два метра ростом, кудри стружками, ремни, сапоги, обмундирование – все впору, все как влитое, и человек не крикливый, не истеричный, похабщину

почти не употреблявший. Он помогал людям и машинам в пути. Коляшину «газушку», клятую не раз батарейными «студебеккерами», из грязи выволакивал. Коляша думал, «то уж кто-кто, но комбат Званцев непременно героем станет и войну переживет. Да и не один Коляша так думал. Да у войны свои законы и выбор свой. После переправы через Оку, расставив орудия для стрельбы, еще не имея ни командного пункта, ни штабного блиндажа, развернул комбат карту на одном колене, другим коленом стоял на земле, отдавая команды на батарею, называя цифры, довороты, повороты. В это время прилетело пяток снарядов с немецкой стороны, слепых, случайных, и все они разорвались-то в овражке, густо поросшем кустами, по склонам синеем разноцветной медуницей, белеющем хохлатками-ветренницами и первоцветами. Совсем не для смерти место предназначено. Однако комбат Званцев уронил телефонную трубку, сморенно начал клониться к земле. Его подхватили и не сразу нашли

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
смертельную рану. Она была с булавоочную головку, на виске, и крови-то от нее  
пролилось столько, что струйкой, вытекшей на шею, не достало и подворотничка.

Город Орел повидать Коляше Хахалину не довелось ни летом сорок третьего года, ни  
в последующей жизни, потому как после взятия Волхова гаубичную бригаду  
переместили на Украину и, слава Богу, не своим ходом, погрузив ее на эшелон,  
который больше стоял, чем двигался, потому как путь железнодорожный только еще  
восстанавливался и движение по железной дороге было еще затруднено. В пути  
артиллеристы хорошо отдохнули, и Коляша Хахалин до того душевно и физически  
восстановился, что снова начал «петь и смеяться, как дети», рассказывать свои  
сказочки, к нему возвратилось прозвище Колька-свист.

На радость и беду Коляши в эшелоне оказалась балалайка и попала к нему в руки.  
Сперва он балалайл и пел препохабнейшие частушки в вагоне, потом начал делать  
вылазки и, идя следом за поездом, развлекал последний вагон, где размещалась  
хозяйственная утварь, и здесь же прозябала гауптвахта, между прочим, на всем  
пути до отказа переполненная.

– Я работал у попа, делал молотилку, заработал у него хером по затылку. Ярой  
силы ураган стер с лица земли Иран, это Ванька на рассвете проперделся в  
туалете.

– Давай, Колька! Давай, свист! – поощряла певца гауптвахта, а поезд между тем  
полегоньку-потихоньку набирал ход – участок довоенного пути уцелел, вот и попер  
эшелон.

Коляша думал, будет, как прежде. – поперет, поперет да и пшикнет тормозами. И хотя  
орали ему с «губы»: «Свист, бежи, догоняй!» – он наигрывал себе да напевал. И  
отстал от эшелона. А дорога-то прифронтная. Забарабали его, милого. Пока запрос  
делали, пока ответ на него пришел – в дезертиры угодил Коляша, променял и проел  
в бродяжном пути балалайку, нижнее белье и ботинки – явился в часть, а там беда:  
при разгрузке на станции Псел бригада попала под обстрел дальнбойных орудий;  
сгорело несколько машин, повредило орудие, были и убитые, и раненые. От станции  
и новых обстрелов надо было убираться подальше. Командир дивизиона рывкнул на  
Коляшу:

– Я с тобой, негодяем, еще разберусь! А сейчас марш с машиной в распоряжение  
Фефелова.

Майор Фефелов же, отец родной, только и сказал:

– Ну, поиграл на балалайке, развлекся, пора и за работу.

Да так нагонял Коляшу с машиной, включив их в колонну боепитания, что оба они –  
и рулевой, и машина – выдохлись, встали, требуя ремонту. Здесь же, в фефеловском  
хозяйстве, машину подладили, человеку ж, да еще такому затейному, ни ремонту, ни  
отдыху – вернули в управление третьего дивизиона – вертись, воюй и помогай тебе  
Бог.

А там, в дивизионе, вовсе нет продыху, – артдивизию и гаубичную бригаду вместе с  
нею передали в резерв Главного Командования, и пошли они мотаться по фронту,  
клинья пробивать, дыры затыкать, контратаки пресекать, бить, палить и по дорогам  
пылить.

К этой поре в управлении дивизиона, в парковой батарее и во всем ближнем войске  
установилось окончательное отношение к шоферу Хахалину как к человеку  
придурковатому, никудашному, для боевого дивизиона, для боевой работы даже  
вредному. Запущенного вида, мающий и себя, и технику свою. Коляша и плакал в  
одиночку, и психовал, подумывал уж наложить на себя руки – винтовка-то вон она,  
в кабине висит: обойма в ней полная и патрон в патроннике...

Шоферня, исключительно из презренья к собрату своему, растащила с Коляшной  
машины ключи, отвертки, масленки, насос, даже домкрат один удалец упер. Но на  
домкрате Коляша рашпилем нацарапал ХХ, нашел по тем буквам инструментину и,  
объяснив, что два «хэ» обозначают не Христос Хахалин. а хер Хахалин, долбанул  
железкой вора по спине. Пострадавший написал на него жалобу. Самый справедливый  
в бригадном транспорте человек – майор Фефелов – сказал жалобщику: «Не воруй! В  
другой раз не домкратом, ломиком добавлю!» – и у Коляши появился настоящий враг,

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
на этот раз во стане русских воинов, фамилия ему была интересная – Толковач.  
Говорил воруга, что он серб по происхождению. Врал, конечно. Чтоб серб – и  
воровал?.. Больно продувная рожа у этого серба, навывшего тащить с советского  
колхоза.

Но.. «недолго музыка играла, недолго фраер танцевал», – говорят нынешние  
блатняшки. На стыке двух областей – Сумской и Полтавской, в гоголевских  
благословенных местах, под селением Опишня спустил у хахалинской «газушки»  
баллон, колесо смялось, причем спустил баллон внутреннего левого колеса, для  
которого требуется особый ключ, под названием газовый. У Коляши не только  
газового, вовсе никакого ключа нет. Наладился он идти на поклон в парковую  
батарей – ключ во временное пользование попросить. Когда пошел, обстрел начался,  
аж груши и сливы в саду посыпались. В саду том вместе с другими стояла и  
Коляшина «газушка», под которую он не успел выкопать аппарат, то есть не  
спрятал машину, потому как ничего он не успевал, копать-то и сил не было. А тут  
еще беда: с налету, с поворота попав в пышные полтавские сады, вояки набросились  
на фрукты, в первую голову на сливу – и всю, считай, боевую бригаду пронесло.  
Дристал, да еще так ли звонко, и Коляша – брюхо, кишки и все прочее горючим  
отравлено, весь он ослаблен, истощен, хворь всякая вяжется, насморк и кашель с  
весны не проходят, когда в грязи пурхался, под машиной лежал – простудился. Вон  
как украинское, ярое солнце печет, а все знобко, разлад в голове и в теле, еще и  
брюхо прохватило. Толковач-сука, знал, что слива обладает слабительным  
свойством, но не сказал сибирякам-невеждам об этом. Хохочет, радуется: все вот  
обдристались, он вот нет!..

На обстрел Коляша Хахалин не обращал никакого внимания, раза два в кювет возле  
дороги ложился как бы по обязанности, кюветы были полны фруктами, гнилыми  
грушами, яблоками, прокисшими сливами, и все это забродившее добро слоями  
облепили осы, мухи, пчелы, шмели. Одна оса Коляшу жогнула, и он разозлился:  
«Мало, что все кругом едят и жалят, так еще и ты, скотина безрогая, башку  
долбишь!..» – и в горсти козявку беспощадно раздавил.

Возвращаясь в расположение с ключом, Коляша еще издали заметил, что в саду, за  
белой хаткой, крытой соломой, густо дымит и патронами стреляет горящая машина.  
Старый украинец со старухой с бадьями бегают – из колодца водой хату обливают,  
чтобы не загорелась. Несколько военных помогают им. Прикинул издали рулевой  
Хахалин – и вышло: горит его машина, – вздохнул облегченно: «Дошла, дошла,  
дошла-таки моя молитва до Бога!». К машине нельзя уже было подойти, в ней  
рвались патроны и гранаты, опасно вспыхивали и разлетались по сторонам  
сигнальные ракеты.

– Прямое попадание в кузов, – объявили Коляше. Толковач, пробегая мимо с ведром  
воды, оскалил щетки не видавшие коричневые зубы:

– Будет тебе, будет штрафная! Да-авно она тебя ждет – дожидается...

Коляшу Хахалина позвали к телефону, и сам командир дивизиона громко приказал:

– Провод в кулак и по линии сюда, на передовую, – тут ты у меня узнаешь, где  
раки зимуют! Тут ты научишься казенное имущество беречь!

«На передовую, так на передовую – эка застращал! Понос бы только остановился,  
перед броском неудобно – боец такой героической армии и обделался!» Чувство  
пусть и мрачного юмора еще не покинуло Коляшу Хахалина, и, стало быть, он еще  
живой, и дух в нем пусть не крепок, но устойчив пока.

И пока он шел на наблюдательный пункт, на передовую, дал себе клятву железную:  
никогда-никогда, ни в какую машину не сядет кроме, как пассажиром.

Было все: и топали на него, и расстрелом стращали, и штрафную обещали – Коляшу  
Хахалина ничего не трогало, не пугало. Он отрешенно молчал и смотрел в землю,  
потому что, если он поднимал голову и начинал глядеть в небо, – воспитующими  
его, отцами-командирами, это воспринималось как вызов, как чуть ли не  
высокомерие. Как и большинство начальников, выросших уже при советской власти,  
командиры сии прошли через унижение детства в детсадах, в отрядах, в школе, ну  
и, само собой разумеется, главное, вековечное унижение в армии. Поэтому, получив  
власть, сами могли только унижать подчиненных, унижаться перед вышестоящими  
начальниками, и глядящий в землю, ссутуленный, как бы уж вовсе сломленный



Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
человек был для них приемлемей того, кто смел глядеть вверх, – не задирай рыло, коли быть тебе внизу судьбой определено. Израсходовав пыл огневого заряда, командир дивизиона спросил:

– Чего вот мне с тобой теперь делать?

– Воля ваша. Что хотите, то и делайте, – ответил впопад Коляша.

– Воля ваша, воля ваша, – затруднился командир, имеющий еще силы на перевоспитание разгильдяя, который всем надоел, себя, машину и людей извел. Если бы он сказал то, чего ожидал командир дивизиона: «Немец стрелял, не я», «у снаряда глаз нету» или совсем коротко: «Война!» – капитан еще побушевал бы в сладость и утеху души своей. А тут вот: «Воля ваша», – и вид такой – хоть к чему человека приговаривай – со всем согласится.

– Каблукова ко мне! – приказал капитан.

После переезда с Орловщины на Украину, где-то в направлении на Ахтырку или на Богодухов, уработавшиеся на солнце испекшиеся бойцы взвода управления к вечеру истомленно расселись, разлеглись посреди нескошенного поля, потому как днем от жары ничего не ели, только пили воду и копали, копали и пили. И вот хоть малая, но все же блаженная прохлада, вечер, покой, «кукурузники» в небе лопочут, светленько пулеметными очередями посикивают, по две бомбы-пятидесятки на окопы врага шмаляют. Бои идут затяжные, изматывающие, передовая линия все время меняет «конфигурацию». И однажды вечером с неба раздался женский ангельский голос: «Вы, ебивашу мать, докуритесь!» – кукурузница-летчица спланировала над окопами и упреждение дала, потому как войско, налопавшись, закуривало, и вся передовая высвечивалась огнями сигарок, будто торжественно-праздничными свечками.

Немцы – народ тоже курящий, разберись с неба, кто там на земле курит. И докурились: перепутала какая-то кукурузница конфигурацию передовой, метко положила в самую середку блаженствующего взвода управления третьего дивизиона две бомбочки – и разом два десятка человек вымело с передовой, семеро тут и остались докуривать, остальные в госпиталя, слух был, четверо не доехали до места. Сержанта Ястребова, командовавшего отделением разведки, разбило на куски. Вместо него назначен был младший сержант Каблуков, парень хоть и придурковатый, и вороватый, но лучше пока никого не нашлось.

Махнув рукой у головы, младший сержант доложил. Командир дивизиона к этой поре совсем отошел, да и завечерело, горе ближе подступало – из тех двадцати человек, что от разгильдяйства и ухарства полегли, большая часть служила с капитаном еще на Дальнем Востоке.

– Вот, – кивнул он в сторону Коляши Хахалина, – потерял машину обормот, в твое распоряжение поступает, – и попытался еще возбудить себя, взяться на волну гнева: – Лопату ему в руки и копать! Копать! Человека из него сделай, Каблуков. Навык он в придурках ошиваться...

Ах, товарищ капитан, товарищ капитан, без двух месяцев майор, да разве можно Коляшу Хахалина чем-либо напугать после той клятвой «газушки», что сгорела в праведном огне. И копать?! Что такое в одиночку выкопать яму под машину, пусть и «газушку», пусть у той ямы и название научное, нерусское, – это ж цельный погреб...

А после того, как кукурузник уронил две бомбы на солдатские головы, целую неделю, если не больше, царила на передовой бдительность, орала солдаты друг на друга, командиры со взведенными пистолетами гонялись за разгильдяями, стреляли даже по засветившемуся огоньку. Но вот переместились с места катастрофы огневики, сменились части, прибыло пополнение, ослабела напряженность в командах, и славяне снова бродят по передовой по делу и без дела, снова картошку варят на кострах, промышляют харч, курят скопом, и кто же и когда же сочтет, сколько потерь у нас было по делу, в бою, в сраженье, сколько из-за разгильдяйства российского и легкомыслия?

В отделении разведки Коляша Хахалин скоро усек: главная забота здесь состоит в том, чтоб не украли стереотрубу, буссоль и два бинокля, копать же семерым рылам одну ячейку и ход сообщения к траншее или уж, если местность и условия позволяют, – прямо к штабному блиндажу – это работа? Долго Коляшу к приборам и

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru) не допускали, держали за чернорабочего. Он копал, таскал, перекрытия добывал, но так как взвод управления, понесший такие неоправданные потери, да и оправданные все время несущий, никогда более полностью укомплектован не был, то вместо семи рыл осталось четыре, да и то одно из них – младший сержант Каблуков, полководца из себя изображающий, черной, потной работы чуждался.

Долго, очень еще долго пахло от Коляши мазутом и отрыгалось бензином – забываемо, неизгладимо пошоферил он.

Артразведчики поднаторели играть парней отчаянных, все время находящихся в самом опасном месте, все время выполняющих самую ответственную работу, на самом же деле спят, где только возможно, тащат съестное и, составляя схемы разведки, врут напрапалую, докладывают часто о целях противника, коих и в помине нету. Коляшу Хахалина на артиста учить не надо. Он принял правила игры и долго бы кантовался в лихой артразведке, если бы на Днепровском плацдарме не ранило.

Надолго отплыл в тыловой госпиталь боец Хахалин. Вернувшись в часть, застал свое место в разведке дивизиона занятым. Каблукова убило. Бывший начальник штаба дивизиона, лупоглазый и долговязый парень, оформляющийся в мужика, занял место командира дивизиона, и крепкая ж память – запомнил, что разведчик Хахалин, иногда подменявший телефонистов, толково справлялся с этой работой. Посадил его к штабному телефону и поднес кулак к носу: «У меня не балуй!». Скоро осталось при нем всего два телефониста, которые умели толково и быстро управляться с ответственной работой, остальных новый командир дивизиона выпинал из блиндажа. Крутенек, шумлив и психоват был новый командир дивизиона, из интеллигентов, из школьников-отличников, из примерных комсомольцев в артиллерийское училище прямоком угодил, жизни совсем не знал, не личило ему материться, работать под лихого военного мужика – голос тонок и жопа не по циркулю.

Два телефониста: Коляша Хахалин и Юра Обрывалов, которым завидовали линейные работяги-связисты, Коляша же с Юрой завидовали им, хотя и знали тяжкую долю связиста. Когда руганый-переруганый, драный-передраный линейный связист уходил один на обрыв, под огонь, озарит он последним, то злым, то горестно-завистливым взглядом остающихся в траншее бойцов и, хватаясь за бруствер окопа, никак одолеть не может крутизну. Ох, как он понятен, как близок в ту минуту и как же перед ним неловко – невольно взгляд отведешь и пожелаешь, чтоб обрыв на линии был недалече, чтоб вернулся связист «домой» поскорее, тогда уж ему и всем на душе легче сделается. И когда живой, невредимый, брякнув деревяшкой аппарата, связист рухнет в окоп, привалится к его грязной стеке в счастливом изнеможении, сунь ему – из братских чувств – недокурную сигарку. Брат-связист ее потянет, но не сразу, сперва он откроет глаза, найдет взглядом того, кто дал «сорок», и столько благодарности прочтешь ты, что в сердце она не вместится.

Доводилось Коляше Хахалину и на линию выходить, и в бой с врагом вплотную вступать, даже до лопат дело доходило, рубились насмерть. Хватив отчаянной доли фронтового рулевого, он с командиром дивизиона в пререкания вступить не боялся, коли тот был не прав или уж слишком психовать позволял себе. Впрочем, когда самого командира-то ранило во время драпа, покричал он: «Братцы, не бросайте!» – резко он после госпиталя изменился в характере, видно сделалось, что психоз, порой и кураж он на себя все же напускал.

Иногда меж телефонистом Хахалиным и командиром разгорался «культурный спор». Как человек начитанный Коляша Хахалин однажды влепил напрямую своему строптивому начальнику:

- Аркадий Гайдар в шестнадцать лет полком командовал, да не задавался.
- Чего-чего? – изумленно переспросил командир дивизиона.
- Аркадий Гайдар, говорю, в шестнадцать лет...
- Бедный полк! Бедная армия! – схватился за голову командир дивизиона. – Я тоже приравнен к командиру полка, и пайку, и зарплату комполка получаю. Вас, мудаков, гоняли, гоняли, учили, учили, били, били. И что? Многие из моих воинов еще дровичь самостоятельно не могут, техникой не овладели, папу и маму им в помощь подавай либо боевого советского командира. Вон твой друг по каторге Пеклеван Тихонов имя жены не помнит...



Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevictor.ru](http://astafevictor.ru)  
Бердичев и, если выгорит, обмыть очередную победу.

Как и почему вояки попали на кожевенный комбинат, Коляша уже не вспомнит. Комбинат действовал при немцах и только-только остановился, только-только опустели его цеха и замолкли моторные мощности. На дворах и по-за дворами, возле складов и цехов валялись кожи, которые в лужах, которые на сухом. Запах был нехороший, и воронье пиоровало здесь, тревожно и опасно орущее, видать, криком отгоняло от себя страх недалекого боя, может, еще и прошлый страх не одолело.

Кто-то из бывалых бойцов сказал:

– Раз комбинат на ходу, должен тут вестись спирт или раскислители на спирту.

Каким-то путем воинство вместе с Коляшей Хахалиным угодило в управление комбината, не то, что было при социалистическом строе, то есть контора в три этажа, где сидели умные люди, управляя производством, подсчитывали прибыль, организуя соцсоревнования, составляли сметы, устраивали комсомольские слеты и партийные собрания, вручали вымпелы, выписывали премии и прогрессивки, выдавали сахар детям и ботинки. У немцев все сурово и просто. Контора в три этажа занята какой-то военной службой, все управление разместилось в пристройке к цеху энергопитания. В пристройке обитал комендант, два его помощника по кадрам, начальник охраны, несколько полицаев да кто-то из специалистов-советников. Из гражданских староста, он же дворник. И все работало. Кожа на солдатские сапоги шла потоком, электричество горело, моторы в цехах жужжали, колеса крутились, прессы прессовали, шкуры и дубильные вещества регулярно подвозились, отходы и шерсть регулярно вывозились, потому что у коменданта был еще один помощник – сыромятная плеть с ореховой, фасонно резанной ручкой. Войдя в дощаную резиденцию коменданта, вояки сразу ту плеть увидели висящей на стене, рядом с портретом Адольфа Гитлера во весь рост.

– Ах ты сука! – закричали вояки, – свободных советских людей пороть!.. – и принялись расстреливать Гитлера. Один воин-меткач поразил фюрера в глаза, из глаза ударила желтая струя, из-за перегородки раздался истошный крик: «Ря-атуите, люды добры!»

Сунулись за перегородку – там толстая старая бабка лежит, прижулькнув животом к полу девчущку, и вопит, на нее из дубового бочонка желтая струя льется. Все стена в каморке-кладовой до потолка была заставлена бочками с пивом. Вояки думали, из глаза фюрера порснула моча, а тут эвон что! Бросились под струю баварского пива, кто с банками, кто с котелком, кто и с пилоткой. Бабка-сторожиха эмалированную миску под струю сунула, тоже попила, перекрестилась и рассказала, что она тут, при комендатуре, – и уборщица, и сторож, раньше в конторе была и комнатка за печкой в конце коридора имела. При немце сюда переместилась, печку железную поставила, топчан из ящиков собрала и живет себе, дитя пасет, потому как и у нее, и у дитя, которую Стешкой кличут, всю родню выбрали, выпололи, кого еще при советах в далекие места увезли, кого тут постреляли, кого немцы подобрали на работу, к германцу отослали. «В рабство ихое», – патриотически подыграла захмелевшая бабка и притопнула вяленным опорком, пыль взялась клубом. Вскинув голову так гордо, что выпала гребенка из волос, по причине шивости коротко стриженных, бабка грянула: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся советская земля!..» – и заутиралась фартуком, тоскуя по Кремлю. Под фартуком бутылка с казенным спиртом обнаружилась. Пошло тут, поехало братское веселье.

Коляша Хахалин как человек, почти не пьющий, точнее – еще не навывший пить, отправился гулять по территории комбината, довольно обширной. И напоролся на пожарный крытый двор. Во дворе под навесом рядком красные машины стоят с баками, полными воды. Коляша сунулся в одну машину – открыто, в машине все блестит и светится. Он понарошке нащупал военным ботинком пробку стартера и, зная, что от стартера наши машины вовек не заводились, давил. Машина вздрогнула, уркнула, застреляла трубой и тут же заработала ровно, чуть сотрясаясь от напряженных моторных сил, готовых к рывку и действию.

Коляша, сперва тоже от неожиданности вздрогнувший, осторожно надавил на педаль сцепления, обхватил рукой кругляшок рычага и сунул его взад – он и в своей-то великомученице-«газушке» не всегда и не вдруг попадал в канавки хитрых машинных скоростей, в особенности в заднюю и четвертую скорости, а тут, сдуру одержав техническую победу, надумал покинуть пожарную стоянку и двинуть машину задом во

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
двор. А уж если дура-удача пойдет, так уж пойдет! Выехал Коляша во двор, машину остановил, но мотор не заглушил и от ликования души, сложив руки рупором, как заорет: «Кто из девяносто второй? Домой поехали. Смеркается уж...»

Это была картина! Это было кино! По городу Бердичеву, облепив красную машину, ехало воинство и под гармошку выдавало: «Три танкиста выпили по триста, а начальник целых восемьсот!..»

Так под гармошку, с дружными песнями въехали в расположение, на батареи ворвались и там уже получили по заслугам сполна. Переполошенное начальство, между прочим, тоже выпившее, повыскакивало из всех хат и пошло, пошло чинить расправу. Кого из гуляк под арест, кого глотки орудий с мылом мыть, кого – землю копать, кому и по морде.

Коляша Хахалин оказался в свежевыкопанном за сараем ровике, усталом по дну соломой. Называлось это гауптвахтой. Хозяин ровика, то есть человек, копавший его, оказался не кто иной, как Пеклеван Тихонов, он же приставлен был охранять ровик с лежащим на его дне нарушителем дисциплины. Пеклеван осудительно качал головой, ругал Коляшу, мол, вечно он, как не знаю кто, – нарушат и фокусничат да выкаблучиваются. Коляша достал из военных брюк шкалик со спиртом, на заправку дал часовому флягу пива. Хозяин ровика, он же постовой, – человек деревенский, сговорчивый. Выпив шкалик спирта и закрепив его пивом, тоненько запел: «И в Божьем храме средь молитвы любовна-ай встренулся наш взгляд...» – Пеклеван страдал непревзойденной сибирской жалостью и обожал переживательные песни. Нелегко ему было держать под арестом своего дружка, страдальца фронтового. Он спустился в ровик к арестованному, обнял его братски, и они так вот, в обнимку, проспали до самого утра.

Рано утром пиво погнало Коляшу в кусты. Он, значит, стоит, поливает украинскую землю, перед ним, кустами толсто заваленное, пламенеет что-то. Отогнул Коляша кусты – под ними красный бак и неподалеку, в ста или двухстах метрах, стоит свежерашенная машина с зеленым, только что сколоченным и свинченным кузовом.

Так Коляша Хахалин сотворил на фронте свое самое полезное дело, за которое медаль ему не дали, но и не ругали. Командир дивизиона, начальник штаба дивизиона, майор Фефелов и прочее начальство делали вид, будто ничего особенного на свете и в их части не произошло. А раз так, то и Коляша делал вид, что ничего особенного не произошло. И думал с облегчением, что было это в последний раз, когда он сел за руль. Да и Пеклеван Тихонов, как всегда к разу и к месту, товарищеское внушение ему сделал: «Не вздумай на ворованной-то машине ишшо кататься – это, как у конокрада, либо на голову аркан, либо в острог запрут».

Сказано уже – нет клятвы крепче, чем в огне и на воде. Но все же пришлось Коляше сесть за руль. Еще раз. Зато уж воистину в последний раз!

Но прежде, чем это случится, Коляша Хахалин сотворит еще один боевой поступок. Там же, под Бердичевом – вот ведь какой памятный город оказался! Сотни городов с войском прошел Коляша, тыщи деревень, Бердичеву же выпало быть большим и очень серьезным перевалом в его жизни. Позднее он узнает, что в Бердичеве венчался французский писатель Бальзак, и нисколько не удивится тому и дознаваться не станет, как это занесло туда француза. Бердичев в понимании Коляши Хахалина еще тот город, в нем могут и должны постоянно происходить всяческие чудеса.

Именно там, в Бердичеве, молодой человек, угнетаемый, как и все здоровые молодые парни, мужской плотью, принял боевое крещение, произведен был в мужики.

Батареи были поставлены на окраине города, и наблюдательный пункт вынесен в хуторок, за сады, на опушку пригородного дубового леса. Хороший, богатый хуторок, совсем почти не разбитый, но какой-то весь раздетый, неуютный – без оград, без ворот, почти без надворных построек, вроде как селились тут люди случайно и ненадолго. Хаты, как бы нечаянно забредшие иль с неба набросанные по опушке леса, хотя и белены, но серые и сырые. Вояки узнали, что хутор этот и в самом деле случайный и недавний. Возвели его какие-то и откуда-то выселенцы перед войной. Опасный для родины народ – выселенцы. Однако небрезгливые власти мужиков все равно подмели, отступления и наступления их смыли в военные ямы.

Командир дивизиона, начальник штаба, вычислитель и прочие нужные делу чины заняли просторную хату безо всяких перегородок и затей. Внутреннюю архитектуру

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
хаты осуществляла основательно сложенная, на чалдона-сибиряка ликом похожая, насуспенная русская речь.

В хате обитали мать Антонина – женщина дебелая, в разговоре степенная, и две дочери – Светлана и Элла.

Светлана пошла в мать – пышнотелая, с косой цвета овсяной соломы, спускающейся до заднего места, по земле ступает из милости, травки-муравки едва касается. Словом, была она из тех, про кого говорят: прежде, чем сказать, – подумает, прежде, чем ступить, – осмотрится. Пава, одним словом. Над ее кроватью гвоздями приколотые, тушью, от руки рисованные на ватмане висели два портрета – Пушкина и Белинского. Товарищи командиры зауважали Светлану и выражаться при ней воздерживались. Желая угодить девушке и обратить на себя внимание, командир дивизиона зыкнул, чтоб военные курить выходили вон. И этот жест даром не пропал: пошел командир умываться – Светлана ему поливала, холщовый рушник, петухами вышитый, подала.

Другая дивчина, видать, в отца удалась. Платьишко на ней еще с накладным воротничком и карманами, с тремя складочками на юбке. Заношенное платьишко, давно не стиранное, точнее, стиранное, но без мыла, в щелоче и оттого несвежо выглядывшее. Зато сама Элла, чернявенькая, с остренькими локтями, сияя смородиновыми глазами, хотела всех и обо всем расспросить, все и обо всем рассказать. Смуглое лицо ее разгорелось, губы безо всякой причины улыбались. Она летала по просторной избе, что грач или черный дрозд, то и дело ударяясь о печку, чего-то роняла с грохотом и разбила какую-то посудину, редкую в этом бедном доме, и мать, качая головой, давала понять

постояльцам, что вихрь этот не остановить, не унять даже военной силой. Угадывая желания постояльцев, Элла по своей воле и охоте помчалась в сад, принесла в подоле яблоки и груши, ухнула фрукты на стол, прямо на карты и штабные бумаги. Заметив, что телефонист привязан к месту проводами, ему в пригоршни вальнула абрикосов, поверх алое яблоко и грушу вляпала.

«Подол-то», – напомнила мать и, настигнув дочь, сама одернула на ней платьишко. Коляшу, а он в ту пору дежурил у телефона, эта чернявая птаха сразила наповал сразу, он почувствовал себя разлаженно, слабо, все в нем сместилось куда-то, в жаркое место. Сжимая в горсти грушу и яблоко, Коляша ловил и не мог поймать захмелелым взглядом это порхающее по избе существо, начал путаться на телефоне.

– Да что с тобой сегодня? – уставился на него начальник штаба дивизиона и, увидев мутный взор телефониста, сместившийся в беспмятство, решил, что это от постоянного недосыпания и, раз обстановка позволяет, надо телефониста подменить и дать ему отдохнуть. Да если бы Коляша мог бросить этот проклятый телефон, он сам, не спросясь, бегал бы за девушкой щенком возле избы, тьякал и зубами хватался за подол, забыв про войну.

Мать Антонина предложила товарищам охвицерам сготовить обед, если у них есть продукты; от себя же она могла добавить к обеду яишницу. Товарищи охвицеры благосклонно согласились с этим предложением, отделили продукты от сухого пайка в распоряжение хозяйки.

Заполшно бросив: «Пойдем!» – Элла схватила освободившегося телефониста за руку и умчала за собой во двор, со двора, в котором стояла корова, по лестнице – наверх, на сеновал. В дощаном щелястом сеновале пахло свежим сеном и яблоками. В глуби сарая, у дальней стены серела кучка прошлогоднего сена. На нем была раскинута нехитрая постель – стеженое старое одеяло вместо матраца, в головах половичок, на него брошена смятая подушка и что-то скомканное, наподобие покрывальца. «Тут она спала! – догадался Коляша, – совсем недавно». У него занялся дух. Элла порхала по сеновалу, собирая яйца снова в подол платьица, оголив серо-голубые трусики с белыми пуговками на боку. Вдруг девушка остановилась перед Коляшей, уперлась в него: «Ты чего?» Господа охвицеры деликатно отворачивались, когда она вот так-то, с фруктами и яблоками, задрал подол, одаривала их плодами. Коляше она зачем-то сунула в руки теплое яйцо. Он стоял посреди сеновала, держа куриное яйцо в ладонях, и не отрывал взгляда от Эллы. Он и губами-то пошевелить не мог, а вот яйцо раздавил, и оно потекло на ботинки. Держа одной рукой подол с яйцами, другой рукой Элла принялась клочком сена очищать солдатский ботинок, торопливо, с захлебом рассказывая, что приехали они сюда с Урала и сначала ей тут не нравилось, но, как вырос и начал цвести

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
сад, – понравилось, и вдруг тоже поняла – он ее не слышит, то есть слышать-то слова слышит, но смысла их не понимает.

– Бедный ты мой! Ты ж на войне... – погладила она его свободной рукой по щеке и приказала немедленно лечь в постель и спать. – Потом... потом, все потом. Я тебе нравлюсь, да? – уже с лестницы высунула она голову. Глазищи у нее ясно и возбужденно сверкали.

«Вот она, погибель-то какая бывает», – обреченно подумал Коляша и закивал головой – да-да!

– Я приду к тебе! – шепнула или крикнула Элла.

Коляша решил, что все это ему метится, женский это товарный обман, и только – о нем он так много слышал и читал.

Усталость, давняя, фронтовая, все сминающая усталость, и событие, встреча эта, молнией его опалившая, – обессилили парня, и только он коснулся подушки, будто в обморок провалился иль в яму бездонную угодил.

Ночь была уже, сочился лунный свет в щели сарая, когда Коляша проснулся от осторожного к нему прикосновения. Кто-то лежал рядом, гладил его по щеке, касался губами уха.

– Хороший ты мой! Солдатик мой молоденький, желанненький... Я тебе нравлюсь? И ты мне тоже... И ты мне... – шелестело рядом.

Коляша, не шевелясь, внимал голосу небесному. И от голоса одного и ласкового к нему прикосновения истек в белье и, если б дальше ничего не было, он все равно считал бы, что мгновения эти в его жизни – самые волнительные, самые счастливые. Но девушка, скользя губами по лицу, нашла его губы и впилась в них. Коляша плотно-плотно сжал рот.

– Да ты еще и целоваться-то не умеешь?! – прошептала Элла и стала старательно учить его целоваться.

Коляша весь опустел и, как и что было дальше, – плохо понимал и помнил. Он истекал семенем, почти непрерывно содрогаясь от силы, давно и навязчиво его угнетающей.

Очнулся он от легкой боли – Элла, Эллочка, повторяя: «Хороший мой! Сладкий мой!», – покусывала сосцы на его груди, и, вспомнив, как мужики говорили, что иные женщины во время полового сношения не только кусаются, но кричат, Коляша сперва испугался, но потом все же решил, что ради такого небывалого удовольствия можно все стерпеть – и отдался губительной страсти, как это дело называют в книгах.

Они маленько и поспали, и поговорили даже. Элла, тронув его по губам пальцем, сказала, мол, ей очень приятно, что она у него была первой.

– И дай Бог, чтобы не последней, – кротко вздохнула добрая душа.

Преисполненный благодарности, он хотел на благородство ответить благородством, мол, когда война кончится, он приедет в Бердичев и женится на ней, на Элле. Но в это время Коляшу крикнули снизу, со двора, – пришла его пора дежурить. Он глянул на часы – было четыре часа утра. Сменщики дали ему отдохнуть две смены. Молодцы какие! Понимая, что так просто уходить нельзя, надо что-то сделать на прощанье, Коляша пытался припомнить, как в таких случаях поступают герои книг, но отчего-то не вспомнил и просто поцеловал девушку и сказал: «Спасибо!» – получилось, будто в магазине, продавщице за селедку благодарение, и он тихо, стесняясь нежности, добавил: «Милая».

Элла, уже сонная, подняла руку, погладила Коляшу по щеке. И он, сам от себя того не ожидая, неуклюже чмокнул ее маленькую ладошку и почувствовал, как обессиленно опала соленым отдающая рука, раздался глубокий, удовлетворенный вздох, который долго-долго, всю жизнь будет помнить Коляша, ибо поймет со временем: все, что в жизни бывает в первый раз, – не повторяется, все же, что случается второй раз, – вторично.

Приспевает пора рассказать о том, как Коляша Хахалин нарушил клятву, в огне данную, вынужденно сел за руль и сотворил вынужденный подвиг.

Раненный весной сорок четвертого года в путаных, бестолковых боях под Каменец-Подольском, он все лето кидаем был по прифронтовым госпиталям. В одном госпитале пристроился было санитаром, но на раненой ноге никак не зарастал свищ, сочилось в бинты, присыхала к ране вата, и его метанули в чуть отдаленные тылы – долечиваться, да не долечили, отправили нестроевиком в ровенский конвойный полк, где он и встретил День Победы.

Чудно встретил он этот выстраданный праздник, не по-людски, не по-армейски, не по-братски.

В конвойном полку толкло множество рядовых и командиров, успешно отсидевшихся в тылу, пресмыкающихся, исподличавшихся. Пополнение из раненых фронтовиков не могло не вступить в конфликт с этакой шайкой. И вступило. Дело доходило до мордобоя, в котором верх, конечно же, держали старые конвойники, сытые, здоровые ребята. Нестроевиками разбавляли в ротах это сытое и наглое кодро, которое объединение вело подлое дело. Старшины рот и младшие командиры вызовут в каптерку за чем-либо строптивного нестроевика и дружно так его отделают, что всякая жажда дальнейшей борьбы за справедливость пропадает.

Коляшу беда свела с двумя бойцами – Жоркой-моряком и тихим парнем из местечка Грицева, что на Житомирщине. Оба они были тяжело контужены, обоих парней били припадки. Коляша, немножко поработавший в госпитале, научился усмирять падучую, когда она валила ребят. И снова навела его худая доля на держиморду – ротного старшину. В отличие от Олимпия Христофоровича Растаскуева, этот был худ, нервен, криклив. И фамилия ему соответствовала – Худоборов. Он панически боялся погибнуть. И погиб. Уже в мирное время. Прилачился к какой-то ровенской жинце, а у той муж дезертировал из армии, сошелся с лесными братьями и, однажды явившись в город, обех, как говорил новый старшина роты, расстрелял прямо в постели. Так вот, старшина Худоборов еще и рукоприкладством занимался. Однажды он ударил Жорку-моряка, тот хрясь на каменный пол и забухался в припадке, затылком об камень. Старшина убежал и в каптерке спрятался. Народ оторопел. Коляша насел на могучую грудь моряка и кое-как справился с больным, не дав разбить ему голову об пол. Перенесли захлебывающегося пеной больного на нары. Коляша внушал бойцам, что припадок страшен для самого контуженного и ни для кого больше, что в роте таких больных двое, может начаться приступ сразу у обоих, и что он тогда станет делать? Надо ему, Хахалину, в этом деле помогать.

Старшине Худоборову Коляша на всякий случай заметил, что-де у контуженных есть справка на тот счет, что, ежели они человека прикончат, их даже к ответственности за это не привлекут. Худоборов перестал чеплять припадочных, переключился на более здоровых, падучей не страдающих бойцов. Коляша Хахалин из нарядов, почитай, не вылезал – этого старшину, как и Растаскуева, борца за исправную службу, отчего-то бесило, что рядовой, занюханый солдат, к тому же хромой, читает книги, хорошо поет и, главное, пишет стихи. С наслаждением, аж бледнея от страсти, на всю роту кричал и этот старшина: «А ну, поет, мети казарму, выносс-си помой-и!»

В ночь на девятое мая, уgomонив припадочных, наказав ребятам, чтоб, если начнется приступ у больных, подменить его на посту, Коляша Хахалин заступил на дежурство у проходной, с одной обоймой патронов, сунутой в магазин винтовки.

Надо сказать, что беспокойство, волнительное ожидание долгожданной вести, охватившее страну, в том числе и город Ровно, забитый не доехавшими до фронта и уже едущими на Дальний Восток войсками, передалось и усталому, войной издерганному и старшиной измыленному бойцу Хахалину. А тут еще танкистов навалило на окраину города, поди-ка, целый корпус. Они переломали гусеницами танков сады, расположились, не боясь демаскировки, вольно, широко и загуляли. Ой, загуляли!

Вот уж время и час, и второй час ночи – у танкистов бал не умолкает: звучат баяны, гармошки, гремят радиоустановки, визжат девки, поют парни, зычно гаркают чего-то товарищи командиры. И все это разом, одновременно – постовому Хахалину передалось возбуждение от происходящего в саду и в округе всей. И чего особенного? Тоже человек, сколько и как мог, воевал, было бы, так и выпил бы...



Тут на него с фонарем-фарой набрели пьяная банда в количестве четырех рыл. Интересуются ребята, в каком городе находятся, какой объект перед ними, нельзя ли чем разжиться в смысле спиртного. Коляша терпеливо объяснял: находятся они на Украине, в городе Ровно, перед ними проходная конвойного полка, и, ежели есть здесь у кого спиртное, его потребляют втихаря.

– И ты в такой шараге служишь? – удивились танкисты.

– А куда ж мне деваться-то? Родина каждому свое место определяет. Не сойдешь...

– Э-э-эх ты! – сказали танкисты, и один из них заплакал. Все они начали обнимать часового и целовать, оглушая запахом самогонки, в один голос наставляли, чтоб он позорный пост бросил и шел с ними за выпивкой.

Коляша с поста не сошел, но путь к самогонке указал самый короткий. Жора-моряк говорил, что пустующую окраину города заселяли переселенцы из России и освоение новых земель начали с производства самогонки и вина, так как украинские сады осенью по колено завалены фруктами, да и сейчас еще винную прель по городу разносит.

Где-то уж к утру, когда небо начало отбеливаться с востока, танкисты, держась друг за дружку, проследовали в часть, но, заметив одинокую, серенькую фигурку часового, прониклись братской жалостью, поднесли ему прямо в противогазной немецкой банке вонючей крепкущей самогонки. Коляша, продрогший на посту, покинуто и сиротливо себя чувствующий, выпил через край, зажевал гнилым яблоком и посоветовал танкистам идти в расположение, спать. Но пока он пил, зажевывал яблоком питье, подавал советы танкистам, они, прислонивши себя к кирпичной стене полкового забора, осели наземь и сваренно заснули. Остаток ночи Коляша занимался тем, что по одному перетаскивал через дорогу сраженных танкистов, устраивал их на ночлег возле машины и под яблонями.

Гулянка ослабела, музыка звучала лишь на машине с движком и радиоустановкой, которую не выключали, дожидаясь великих вестей. Вдруг дверь машины распахнулась, ярко плеснуло электрическим светом, в свете возник человек с ракетницей в одной руке, с автоматом в другой.

– Ребята! Парни! Товарищ генерал! Победа! Победа-а! Победа, раствую мать!.. Да что ж вы. курвы, спите? Победа ж! – и пальнул в небо одновременно из ракетницы и из автомата.

Коляша Хахалин, плача от счастья и от самогонки, солидарно со всеми жахнул из винтаря. Всю обойму! И весь город застрелял. Небо озарилось ракетами, взрывами! Какой-то танкист лупанул из орудия по забору конвойного полка, дыру в кирпичках пробил. Коляша хотел побежать и сказать, чтоб пушку наняли, вверх палили, холостыми. Но в это время начала выбегать в белье из казармы братва, из каптерки выпал в окошко паникой охваченный старшина Худоборов: «Нападение! Бендеровцы! В ружье!..»

Коляша вспомнил, что Жору-моряка и Гришу из Грицева непременно приступ свалит от возбуждения, ринулся в казарму – помогать болезным. Только он справился с этой задачей, как его тут же арестовали и увели в помещение гауптвахты. Оказалось, не один старшина Худоборов запаниковал. Все полковое начальство испугалось и за трусость свою, малодушие искало, кого наказать. Постовой Хахалин без надобности израсходовал боезапас, к тому же пьян был. Вот и понес заслуженное наказание.

– Да я от радости, от радости!.. – пытался внушить старшине и его сподручным Коляша, но Худоборов, разбивший голову, изрезавшийся о стекла, перевязанный, йодом расписанный, как индеец из джунглей, рвал и метал, грозился еще и под суд отдать разгильдяя.

Просторная гауптвахта, расположенная в подвале штабной казармы, оказалась пуста. Коляша забрался на нары, уткнулся в угол и долго плакал, вымывая слезами все обиды, какие получил он в родном отечестве за войну, всю свою незадачливую судьбу оплакивая.

К нему, такому аховому преступнику, в суматохе не приставили даже охрану. Худоборов просто закрыл его на амбарный замок и ушел. Ни воды, ни хлеба, ни

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
завтрака, ни обеда арестованному не несли. В послеобеденное уже время раздался в подвальном коридоре шум, гам, звон железа – это напившийся в честь победы Жорка-моряк вспомнил о Коляше Хахалине, сбил кирпичом замок и ворвался на гауптвахту с компашкой, принеся с собой выпивки и закуски.

Конвойный полк кишмя кишел доносчиками, предателями, подлецами, и кто-то из них донес старшине Худоборову о том, что творится на гауптвахте. Старшина с криками и угрозами ворвался в подвал. Жорка-моряк сгреб его за грудки, придавил к стене и велел всем выйти вон. Когда веселящаяся публика покинула помещение гауптвахты, Жора-моряк бросил тщедушное тело начальника на доски нар. «Только пикни у меня!» – погрозил он старшине пальцем и закрыл гауптвахту его же замком.

Город взбудоражило. Гремела всюду музыка, везде плясали, с кем-то обнимались, пели, прыгали, смеялись, ликовали военные. Жорка-моряк деваху у переселенцев подцепил. Коляша Хахалин свою содетдомовку встретил. В таком-то содоме взял и встретил. Совсем нечаянно. И кого встретил-то? Туську Тараканову! И где? В Ровно. На другом, можно сказать, конце земли, точнее – полушария. Значит, он воды захотел, газировки. Пристроился в очередь к голубой тележке с бачком и колбами. В одной колбе красный сироп, в другой желтый, яблочный. Объектом этим управляла уже тучная женщина, может, деваха. Черные жесткие волосы у нее в разные стороны торчали, нос такой симпатичный, будто у игрушечного поросенка, с пяточком, и дырки кругленькие в носу. Ну вот хоть расстреляй Коляшу – мерещится что-то знакомое ему в продавщице газировки, и все тут. Наливает продавщица в стакан газировки и говорит усмешливо:

– Ну, чего солдатик уставился? Своих не узнаешь? – и тут же мокрый стакан уронила: – О-ой, Коляша! О-о-ой!.. – и рухнула на своего содетдомовца большим, мокрым фартуком прикрытым телом.

Торговлю Туська прекратила, тележку куда-то свезла и всю компанию Коляшиных друзей увела с собой.

Жила Туська с мужем и полуторогодовалым парнем Мишкой в одном из тех самых окраинных домов, из которых были выселены и увезены на Урал, в Казахстан и в Сибирь их хозяева. Муж Туськи, мертвецки пьяный, спал в старой гимнастерке с медалями и орденом на кровати. Одеядло, брошенное сверху, круто опадало на храпящем обручке.

– Спит красавец мой, – вздохнула Туська, – и горя не ведает. Без ног он у меня, в госпитале сошлись. Там и сына сотворили. Я при госпитале по мобилизации прачкой работала. Пришла пора рожать ехать, а куда? Тут агитировать начали – осваивать новые районы. А они, новые-то, старее старых оказались...

Туська позвала за собой Коляшу на двор и там, собирая картошку, рассыпанную по полу сарая, где еще остались три курицы да петух – остальную всю живность переселенцы приели, – Туська указала на сложенный, точнее, в угол сарая сбросанный хворост из сада, сказала, чтоб Коляша набрал дров, продолжая повествование о своей тревожной и невеселой жизни. Муж ее, Гурьян Феодосьевич, из хорошей в общем-то, крепкой семьи, но семья та рассеялась, деревня под Брянском сгорела вся, и они вот клюнули на подачку, как и другие русские люди, кто от бызысходности, кто от жажды пожить на дармовщинку. Гурьян спервоначалу сапожничал, но чужая сторона, да и изба чужая не греют, и он принялся греться зельем. Приехали осенью – фруктами земля завалена, зерно в амбарах, добро в кладовках, овощи в подвалах – все для жизни трудом добыто, на зимовку приготовлено. Первое, с чего начали переселенцы жить, – с самогонки, с закладки фруктов на вино из падалицы. Гурьян совсем разбаловался, работать перестал, зачастили к нему делеги из доблестного конвойного полка, тащат манатки, золотишко, серебряную утварь – выселяли они раньше деревнями, теперь целые районы гонят. Грузят да увозят. Прежде давали людям собраться, хоть чего-то необходимое взять с собой. Ныне дают час на сборы и, как скот, табуном на станцию. Но многие мужики разбежались по лесам, нападают на военных, вырезают переселенцев. И Гурьяну уже записка была: коли не уедет, зарежут его вместе со всей семьей.

– А я вдругорядь беременна, а первенец еще мал, муженек запивается-заливается, местные на нас волками смотрят. И правильно. Чего явились-то? Чего на чужое добро обзарились?

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
Уже и дров набрали, и Туська в дырявый детский горшок яиц насобираала. Помогавшая по дому украинка Гапка с цыганскими ухватками кликала Туську.

– Да сейчас я, сейчас. Дай поговорить с человеком! – досадливо отмахивалась Туська и, отведя глаза, молвила самое главное: чтобы Коляша при первой же возможности рвал из своей части, пока его не повязали по рукам и ногам, пока в конвое не побывал. – Они ведь, ваши-то вояки, чего не доберут в деревне, у селян, после отрядами вооруженными туда ездят и тащат добро всякое, конвойные же в дороге гонимых людей шерудят, последнее у них отнимают. Тут настоящая война идет, клеймят Бендеру и его сподвижников, но сами же зло здесь породили, в страхе живут, и мы тут страху набрались. Уезжай, убегай, Коляша, уезжай как можно живее, пока в конвой не назначили, не испоганился пока... Да иду я, иду! Они ведь, – уже на ходу закончила торопливо Туська, – если в пути не будешь по-ихнему поступать – в пай не войдешь, под колеса поезда бросят.

Крепко солдатики посидели в гостях. Муж Туськи, Гурьян Феодосьевич, готовясь к будущей мирной жизни, на баяне играть обучился – оказывается, специальный кружок для инвалидов при госпитале существовал, вот как родина о своих болезных сыновьях заботилась: музыке обучала, к хлебному месту определила.

Ах, как они пели под баян, как пели! И плясали!.. Туська, платочком махая, в отчаянии била дробь, ободряя мужа, выкрикивала в госпитале выученное: «Ох, мать, моя мать, разреши Гурьяну дать. Гурьян безногий человек и не видал ее вове-ек!»

Где та мать Туськина? В какой мерзлоте покоится? Туська и не помнила ее. Она детдом помнила, помнила, как Коляша сказки сказывал и, лепясь мокрыми губами в его лицо, брызгала слезами:

– Братик ты мой, братик! Коляша ты мой, Коляша! Куда ты задевался? Везде тебя искала. Тебя искала, Гурьяна нашла... «Эх ты, Гурьян! Гу-у-ляй, Гурьян, да ложись в бурьян, как домой придешь, в бурьяне меня найдешь!» Брошу я его, брошу, окаянного. Не хватат моего сердца всех-то жалеть, не хвата-а-ат.

Проснулся Коляша Хахалин за печкой, на теплой лежанке, в обнимку с той самой молодухой Гапкой. Она насадила ему синяков на шею страстными поцелуями, губы искусала так, что скрыть улики не удалось, и его за самоволку, за моральное разложение снова отправили на губу. Знакомая со многими солдатами конвойного полка, дважды туда проникала Гапка, приносила сала, картошек и цибули, сулилась как-нибудь и самогону принести, подпоить постового и добровольно остаться на губе.

Но однажды четверем разгильдяям, прозябающим на гауптвахте, возвратили пояса, обмотки, выдали оружие и под командой капитана Ермолаева, имеющего два ряда орденов и много дыр на теле, добывающего срок до демобилизации, отправили за картошкой в село, дорогу в которое капитан знал, потому как состоял при отделе снабжения полка, и полк тот съедал за сутки не менее кузова картошки, много пшена, кукурузы, комбижиру и всякого прочего добра. Словом, как выразился капитан Ермолаев, явно недолюбливающий полк и его обитателей, – жрут, срут, крохоборничают. Он внимательнейшим образом оглядел вверенную ему четверку, убедился, что все они бывшие фронтовики.

– По коням, орлы! – сказал и полез в кабину, добавив, что могут их и обстрелять в пути, так что лучше лечь в кузове на солому, башки не высовывать, на двор не проситься – остановки нежелательны.

Шофер машины, расплывшийся от харча, явно не казенного, ныл:

– Опять я! Опять я! Некого акромья меня нарядить, некого? В этаку даль, на вечер глядя... Район-от самый опасный...

Капитан рыкнул на шофера, лягнул дверцей, и скоро они уже пылили по украинским просторам, меж осенью полуубранных, потемневших полей пшеницы и рассыпанного, что горелый лес, будыльями торчащего, накрест палого подсолнуха. Кукурузные поля, обнажив гниющие початки, шелестя, сорили драными лохмотами. Птицы всякой тут паслось – тучи, иные вороны так обожрались, что и взлететь не могли, лишь отбегали с дороги, махая крыльями.

Приказом капитана – лежать и не дрыгаться – солдаты, недавние фронтовики,

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
пренебрегли – экие страхи после фронта-то! Обстреляют! Ну и они в ответ дунут из автоматов, новеньких, свежесмазанных, с полными дисками. Да еще у ханыги того – шофера – «дегтярь» есть в запасе. Попробуй, тронь.

Название села, в которое они устремлялись, врубилось в памяти навсегда – Подкобылинцы. Село стояло хорошо, лицом к полям, дворовыми постройками к лесу. По селу, разделяя его на две части, текла, перехваченная плотинкой, лесная степенная речка, вычесывая зубцами камней из леса к домам и в поля спутанные кустарники, порскнувшие серьгами, и крылато раскрывающееся листвою чернолесье, вербач, краснотал. Плакучие ивы, там и сям нежно засветившиеся, мочили гибкие космы в прудках, гоготала многоголосо плавающая птица, насорившая всюду столь много белого пера, что туманцем зелени покрытые берега прудков, узко от них поднимающиеся переулки, были словно бы припорошены снегом.

Дома под черепицей и «пид бляхой», строенные основательно, сплошь почти на каменном фундаменте, окружали собою упористо стоящую церковь и кирпичный многоэтажный дом, должно быть школу. Дворовые постройки – из толстых, во всю длину рубленных бревен, крытые то тростником, то соломой, круто взмывали в небо. Сами дворы вымощены плахой или каменными плитами, не огороженные сады, сомкнувшиеся меж собой, подступали к хорошо сохраненному сосновому бору с подбоем ельника, местами, как бы нечаянно, яблоньки забредали в него и зацветали в затени припоздало, торопясь, однако, союзно с родным садом покрасоваться, опасть цветом и успокоиться завязью плодов.

Коляша еще и еще плевался, вспоминая самую брехливую на всем свете пропаганду о том, как в нищете погибали, обобранные панами, никем не призретье украинцы и белорусы. Больше всего, помнится, поразила детдомовских ребят спичка, которую угнетенные, ограбленные народы вынуждены раскалывать на четыре части, чтобы хоть как-то разводить и поддерживать огонь в печах. Ребята пробовали раскалывать спички на четыре части, но даже английские спички кололись всего лишь на две части, советские же, из города Кирова, вовсе ломались. Бедные, бедные народы западных областей Украины. Как же вы ликовали, шапки мохнатые в воздух подбрасывали, когда вас освободили и подсоединили к сияющей от счастья советской стране, где черная тарелка на промерзлой детдомовской стене, над всеми переселенческими бараками каждое утро задорными голосами извещала: «На свете есть страна такая, где нет ни рабства, ни оков, над ней, весь мир лучами озаряя, горит звезда большевиков».

Первые колебания в сердце Коляши произошли, как только углубился он с войском на Украину, в земли ее, воистину тучные и родовитые. На Сумщине в беленых хатах земляной пол, скамья, прилепленная к стене, голый стол, скриня, стало быть, ящик пузатый, иконка или портрет вождя в переднем углу, увенчанный холщовым, древним рушничком, и неперменная всюду медная кварта – половина медной артиллерийской гильзы с запаянной дыркой пистона на дне и с припаянной железной ручкой, часто из черной проволоки. За хатой захудалый садочек, кем-то обглоданный, два-три глиняных глечика на сгнивших палках тына да кринка с отбитым краем. И забитость, страшная забитость нуждой и страхом униженных людей, чисто и виновато улыбающихся. Двести – триста километров прошли – все то же, все то же. Покраше и побогаче сделалось в гоголевских местах – Опишне, Катильеве, Миргороде, затем снова бедная опрятность и приниженность. Но местами и опрятность уступала заброшенности, сиротству, какому-то беспросветному опущению земли и душ человеческих – махнули рукой на себя украинцы, грабленные и битые советами, окончательно ограбленные и почти добитые оккупантами.

Но ближе к границе пошли земли ухоженной, люди и селяне бодрей, вдоль старой границы и богатенькие даже. «Агитпункт!» – вспомнил анекдот Коляша. Это значит, когда Иван – ударник труда на небо попал, ему за одними воротами показали накрытые столы, с вином, с закусью, пляшущих голых девок, изнемогающих в истоме, музыка, цветы. У других же ворот сплошь часовые да во всю стену надпись: «Предъяви документы!» Дурак, что ли, Иван-то, не видит, что ли, где лучше. Выбрал, конечно, то помещение, то место, где бабы и вино. Но только вошел туда – его цап-царап и под темные своды уволокли да голым-то задом на раскаленную сковороду. Иван орет: «И здесь об...ка!» А ему вежливо: «То был агитпункт».

В Подкобылинцы они въехали еще засветло и устремились к правлению колхоза, но в глухом переулке, высоко выложенном обомшелым камнем и поверху поросшем терновником, стояла женщина, раскинув руки. Машина остановилась. Женщина бросилась к капитану, панически выдыхая:

– Уезжайте! Немедленно уезжайте! Там, – показывала она за село, в сады, – там живьем сожгли подполковника с сержантом. Самостийщики напились и спят, но вечером пойдут по селу – резать и убивать активистов. Я уйду, сейчас же уйду. Я учительница здешняя, – догадалась она пояснить на ходу. – Подполковник ездил ко мне, мы собирались пожениться.. Может, вы их похороните, а?..

Женщина выглядела полубезумной, старой, может, из-за черной шали, накинутой на голову, на самом же деле ей было чуть за двадцать, но яркая, вроде бы чужая седина прочеркнула надо лбом ее каштановые волосы. Приказав шоферу тихо и медленно следовать за ним, капитан Ермолаев с пистолетом в руке шел за учительницей. Она, словно бы по горячему-горячему ступая, мелко перебирала ногами: «Скорее! Скорее!»

– Перебьют же нас, перебью-у-ут! – скулил шофер, высунувшись из кабины. – Уезжать надо, уезжа-а-ать!..

Подполковника и его ординарца прихватили проволокой к бамперу «виллиса», выпустили из бака бензин и бросили спичку. Под осевшей на диски машиной еще курилась земля, обгорелые до головешек, скрюченные огнем, люди скалились белыми зубами в какой-то дурашливой и одновременно сатанинской усмешке.

Головешки-людей забросили в кузов и по дороге, идущей вдоль леса, рванули из села Подкобылинцы. Не попадись на их пути еще одна вскипевшая речка, так бы под укрытием леса и ушли или дождались ночи.

Но пришлось искать мостик. Как только из полей и кустарников машина выскочила на бугорок, к виднеющемуся в ложбине мостику, сложенному из разъезженных, щепьем сорящих бревешек, от полуразваленной среди поля скирды соломы ударил пулемет.

Солдаты сыпанулись из кузова. Капитан Ермолаев с шофером залегли по другую сторону машины, за колесо. Пулемет больше не стрелял. Солдаты пояснили: бендеровец боится, дымок из пулемета виден, да и скирда заметна – теперь он будет ждать, когда из села к нему на подмогу приедут или прибегут братья.

– Счас, ребята, главное в ложбинку, к мостику спуститься, главное, машину не дать поджечь, там мы этого стрелка заткнем, за-аткне-о-о-ом.. – спокойно, деловито сказал капитан: – По местам! Оружие к бою.

Но как только солдаты высунулись, от скирды снова ударил пулемет. На этот раз угодил по кузову машины, вышиб щепки.

– Нич-чего-о, орлы, ничего-о, бывало хуже. А ну-ка, ты, герой, пулемет из кабины сюда, ко мне.

И тут обнаружилось, что шофер, герой этот из конвойного полка, пребывает в невменяемом состоянии. Он рыл ногтями землю за колесом машины, вышлепывая мокрыми, грязными губами: «С-споди сусе, с-споди сусе!..»

Капитан Ермолаев глубоко втянул ноздрями воздух и потрясенно произнес:

– Да он же обосрался! – словно не веря себе, еще раз втянул воздух и совсем сраженно молвил. – В самом деле! А-ах, ты, с-сука! Ах ты, тыловая крыса! – взревел капитан Ермолаев и принялся долбить пистолетом паникера по башке, и забил бы он его до смерти, солдаты не дали. – Счас же, счас же в кабину, гад! Счас же!

Шофер не понимал командира, смотрел глазами, какие бывают при столбняке, не слышал, не воспринимал слов, кровь текла по лбу, по вискам шофера, но он ни боли, ни крови не чувствовал.

– Р-ребя-а-ата! – простонал капитан, – мы же пропадем, если машину в ложок не спустим. Пропаде-о-ом! Я тя, мразь, добыю!..

– Капитан, капитан! – очурал капитана Коляша Хахалин, перехватывая руку с пистолетом. – Давайте я попробую.

– Ты, ты можешь?! – воззрился на него капитан Ермолаев. – Ты, ты.. – он не мог ни

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
чувств своих, ни мыслей выразить, да и соображал от испепеляющего его гнева худо.

– Тело довезу, за душу не ручаюсь.

Коляша приказал сотоварищам двигаться за укрытием машины, сам же ползком забрался в кабину, лежа на спине, снял с крючка и выбросил воякам пулемет, сказав, что, когда «схватит мотор», шуранули чтоб очередь в скирду.

– Я сам! Я сам! Я был пулеметчиком, – торопливо откликнулся капитан.

Мотор, как в Бердичеве, на кожкомбинате. завелся от стартера с первого же прикосновения. Коляша отжал педаль сцепления и попробовал включить скорость. И, слава Богу, сразу же попал в канавку второй скорости и деликатнейше, осторожней осторожного, чтоб не заглохло, начал опускать педаль и со счастьем в сердце, какого не знаять ему больше, почувствовал, что машина сдвинулась с места, набирая разбег, пошла под уклон. Мостик был горбат, Коляша, боясь промазать, вырулил машину на середину его. На мостике машина заглохла, укрощено сползла назад и замерла.

Капитан, волоча в одной руке сочащийся дымом из рожка пулемет, другой волок и пинал извоженного в крови и в грязи шофера.

– Все, что я мог, совершил. В гору мне уже не выехать, – сказал Коляша, – класс не тот. Дальше ехать ему, – кивнул он на шофера, – распорядься, командир.

– Прежде всего надо заняться пулеметом. Я не подавил его. Он нас отсюда не выпустит. Что «дегтярь» против фрицевского эмка? Там пятьсот патронов, тут сорок восемь. Значит, так, солдат. Николаем, вроде бы, тебя зовут? Ты эту падлу перевяжи и вели ему из штанов вытряхнуть. Ты, солдат, умеешь управляться с этой штукой? – тряхнул он «Дегтяревым». – Значит, на высотку с пулеметом и диском, с последним диском. О-о, мордovorоты! О-о, твари! Как они в тылу-то разбаловались – два диска к пулемету. Пали экономно. Отвлекай. Мы вдвоем в обход. Судя по стрельбе, в скирде сидит зеленый или пьяный самостийщик, помощь к нему не торопится...

Вояка в скирде и в самом деле оказался неопытным.

– Совсем парнишка, – мрачно буркнул возвратившийся капитан, забрасывая в кузов машины немецкий пулемет. – Отцы – тоже молодцы: напильсь и по хохлушкам разбрелись, мокрогубого хлюпика в дозор...

Машина не заводилась. Капитан Ермолаев сказал шоферу, что добьет его, бздунa, приставил пистолет к замотанной белой тряпкой голове шофера. Машина тут же завелась.

В связи с этим Коляша вспомнил, что во время боевых действий в их бригаде не было случая, чтоб мотор у кого забарахлил, зажигание прерывалось, горючее засорялось, – как швейцарские часы, работали не только иностранные, но и отечественные машины, ко многим «ЗИСам» и «газушкам» шофера своими силами прикрепили вторую ось, аккумуляторы где-то усиленные добывали и подсоединяли, чтоб отечественная машина заводилась, как иностранная, и не отставала от колонны, особенно в период драпа. Случалось выдергивать орудия из-под огня, шпарить во всю мощь под бомбежками и при безвыходном положении врубать свет во все фары, случалось, и стреляли немцы по свету-то, разбивали фары, подбивали и зажигали машины, убивали водителей. Война. Тут уж кто кого. И всегда со смехом, качая головой: «Во, дураки были!» – вспоминала шоферня, как ехала, трюхала бригада, да и вся дивизия из Калуги на Оку. Про лихого водителя Коляшу Хахалина сочинены были целые былины и легенды, так что, когда случалось герою слышать всю биль и небиль о себе, он, и сам большой вральман и выдумщик, от души смеялся вместе с народом, да еще и добавлял юмору в рассказ, потешая народ, пел под гармошку достопамятные детдомовские свои сочинения: «Вот мчится тройка, оди-ин ло-о-о-ошадь, не по дор-роге, по столбам, а колоко-о-о-ольчик оторвался – звени дуга, как хочешь сам...»

Встали на колени вдоль бортов, взвели оружие. Капитан Ермолаев тоже залез в кузов, положив на борт трофейный пулемет, опустил на солому две гранаты, добытые у скирды.

– Вонь от этой гниды невозможная! Во-о, герой! Во-о, тварь!.. Трупы нечем прикрыть? Хоть соломой прикиньте...

Шофер все еще был не в себе. Машина шла, виляя, чуть не свалилась с мостика.

– Добью я тебя, добью засранца! – стучал пистолетом кабину капитан.

Поняв, наконец, что гибельное село Подкобылинцы стало позади, что в городе ему спасенье, шофер погнал машину, не щадя ни живых, ни мертвых. Промыгнули поля, перелески, пригородные сады, в город ворвались, на всех парах влетели в ворота конвойного полка, и машина замерла в изнеможении среди двора. В кузове, тошновато-сладко припахивая горелым мясом, разбросанно валялись в сбитой соломе трупы, у которых от тряски и подбросов на ухабах да в рытвинах поотламывались черные руки, раскрошились пальцы на ногах.

– Ну, что ж, – уже спокойно, почти задумчиво произнес капитан Ермолаев. – пойду докладываться... Подполковник-то ведь был начальником штаба этого достославного полка. Он и надыбал подвалы с картошкой в Подкобылинцах... Идите в казармы. Помойтесь. Поспите, если сможете. Пока, – и каждому из нечаянных спутников пожал руку.

Шофер из машины не показывался.

– Застеснялся, – усмехнулся капитан Ермолаев. – Застенчивый какой!

Спустя неделю, Коляша Хахалин сыскал в офицерском общежитии капитана Ермолаева, сказал, что рана у него сочится, попросил помочь ему уйти в госпиталь. Капитан пообещал похлопотать за солдата, сказав, что и сам при первом удобном случае уберется с этого поганого места, с этой, пусть и не по своей воле, по-черному развоевавшейся стороны.

Капитан не сказал солдатам, но они скоро узнали, что у начальника штаба конвойного полка была военная жена, ребенок, и голову он морочил учительнице насчет женитьбы – вот Бог его и наказал: нельзя врать и грешить в огне – за это кара особая.

Капитан Ермолаев вошел ли с просьбой в высокие военные органы-сферы, само ли командование конвойного полка, надсадившись с нестроевиками, погружаясь на дно от балласта, перегрузившего этот, совсем не плавучий, давно подгнивший корабль, начало разгрузку, ведь полк укомплектован, жрет хлеб и картошку, но работать, значит, заниматься выселением западноукраинского населения и конвоированием его в далекие края некому. Хитрованы из разных сворачивающихся частей и военных служб, не зная, куда девать увечных вояк, рассовывали их по тыловым частям – до приказа о демобилизации. Если в конвойных ротах по три видящих глаза на двоих, по четыре действующих руки и здоровых ноги на троих и дело до припадочных дошло – окружай этой грозной силой, выгоняй из лесов народ, вой, погружай в эшелоны. Доходяги-то к тому же долг свой воинский считали перед родиной выполненным. Всячески уклоняются от поганого дела, не желают в себе возбудить праведный гнев против самостийного отребья, норовят к переселенцам, в окраинные поселки смыться, пьянствуют там, в контакт с подозрительными лицами вступают, нередко в половой. Из-за Гапки Коляшу Хахалина разочка два уж волочили в какой-то отдел – на беседу. Намекают, да и сам он вскорости догадался: Гапка, пролаза, оставлена для надзора за своей хаткой и хозяйством, не исключено, что и связной является у лесных братьев – уж больно шустрит вокруг конвойного полка, иногда и проникает в него. Результат – двинут военную силу «на операцию», окружат село, но в нем никого нету – ни людей, ни скота, ни живота: кем-то предупрежденные селяне уходили в леса.

Одним словом, в конвойный полк нагрянула представительная медкомиссия и добраковала тех вояк, которых, борясь за положительный процент восстановления, отсылали в строй, часто и в боевые ряды. Сбыли из госпиталей семьдесят процентов, – отчитываясь за свои гуманные, праведные дела, похвалялись впоследствии медицинские военные воротилы, – сбыли с сочащимися, как у Коляши Хахалина, ранами, нередко после трех и даже четырех ранений. Бог трижды и четырежды пощадил человека, но передовая медицина, борющаяся за процент, сильнее, беспощадней, неумолимей Бога.

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
Гришу из Грицева отправили-таки домой, немало симулянтов, как именовали в полку нестроевиков, признали годными к конвойной, безобидно-легкой службе, и этих-то, войной надшибленных вояк, оберегая свои шкуры, заправили конвойного полка станут бросать на самые опасные операции. Недобитые, калеченые нестроевики погибнут уже после войны, в ковельских и других украинских лесах, ведь до пятидесятих годов растянется здешняя, от всех своих, братских, и чужих, не братских, народов скрываема война. Совсем ли она утихла – никто и по сей день сказать не может.

В результате перемен в судьбе Коляша Хахалин с Жоркой-моряком крепко покружились по Украине, пока не попали в город Львов. Коляшу уже заносило военным ветром во время наступления во Львов, и тогда и ныне он ему казался холодно-плесневелым, мрачным, равнодушным городом – не то от вековой усталости и неволи, не то от врытой окаменелой надменности. Собранный с миру по камешку и черепичке, он был и мадьярским, и еврейским, и польским, и украинским, еще и чешским городом, составленным из многих стареньких, зябких городков, невесть откуда и зачем сбежавшихся вместе, невесть какой народ и какую нацию приютивший.

Коляша с Жоркой-моряком угодили в многолюдный загон, охваченный забором и колючей проволокой в три ряда, с вышками по углам, на которых дежурили самые настоящие охранники, с самым настоящим оружием, загоне было три барака, без нар, с прорванными толевыми крышами, с пошатнувшимся в отдалении сортиром без дверей, возле которого все время томилась очередь, с медпунктом, из которого было украдено все, что можно украсть.

В медпункте, выгнав фельдшерницу, на двух топчанах спали какие-то блатные паханы, бежавшие с фронта, из лагерей ли. Бендеровщина, урки, бродяги, ворье – всякая нечисть, собранная на вокзалах и в подвалах, – украинцы, поляки, русские, мадьяры, румыны и еще какие-то нации – такое вот население сгребли в загон. Маленькая полупьяная комиссия из военных представителей неторопливо сортировала этот сброд: кого обратно в армию, чаще в штрафбат, кого на работы, кого в тюрьму, кого в госпиталь, кого в больницу, кого в гарнизон – дослуживать, реденько-реденько – до дому, до хаты снаряжали вовсе дошедшего человека, чтоб он помирал в родном месте.

У Коляши и Жорки-моряка отобраны были только направления «в распоряжение львовской комендатуры», откуда их, не говоря лишних слов и не разбираясь, кто они и откуда, под конвоем сопроводили в загон, под конвоем же водили два раза в день в столовую – поесть горячего. Нечего сказать, удружил им капитан Ермолаев!

Пока не простудились, пока не подцепили дизентерию или еще какую заразу, пока вовсе не обовшивели, решили Коляша с Жоркой-моряком покинуть загон.

Все было задумано и сделано в расчете на хохлацкую тупость – вокруг загона дощатый забор, увенчанный колючкой, и одни ворота, состоящие из двух створок, при входе и выходе строя с территории загона ворота распахивались настезь. Возвращаясь из столовой в конце неровного, шаткого строя, Коляша встал за одну створку двери, Жорка-моряк за другую. Пухломордый хлопец с винтовкою, пропустив строй, выглянул за ворота и: «Нэма никого?» – спросил или закончил он и, взявшись за скобы, со скрипом закрыл ворота, да еще и закрутил изнутри.

Жорка-моряк пошел влево, Коляша Хахалин – вправо. Сделав небольшой крут, друзья сошлись в мрачном переулке и подались на станцию, где, миновав военные составы и кордоны, забрались в глубь длинной ржавой турбины, погруженной на двух платформах, везомой из Германии в качестве трофея.

И покатили солдат с моряком вперед, теперь уже на восток. Две пайки хлеба, упрятанные в столовой, фляга воды, там же налитая, дали им возможность продержаться почти сутки, и отъехали они изрядно от постылого города Львова. Но необходимость делать хоть изредка разного рода отправления выжила беглецов из турбины на узловой станции.

На станции той с почти революционным названием – Красная – стоял эшелон с моряками Дунайской флотилии. Моряки продолжали довольно бурно праздновать День Победы, пропивая прихваченное за границей имущество. Они побили и рассеяли станционную маломощную комендатуру, овладели пристанционным ларьком и вокзальным буфетом. Боевые моряки уже давненько стояли на запасном пути, так как приказом из военного округа эшелон подвергся аресту, и какая ждала его участь, никто не знал и об дальнейшей своей судьбе не задумывался.



Жорка-моряк быстро сошелся с корешами, попил, побеседовал, даже сплясал «яблочко». Из ворохом сваленных на путях и на перроне заграничных чемоданов, узлов и мешков выбрал сподручный чемоданчик с жестяными угольниками и сказал, что надо отсюда нарезать скорее, так как из Львова, сказывали железнодорожники, движется комендантский отряд, и тут будет бой – моряки-то двигаются на восток с оружием. Беглецы-доходяги удалились от мятежного эшелона и стали ждать проходящий поезд. Поезда по Красной шли без остановок, лишь сбавляя ход, этого бравому моряку Балтфлота и солдату, многожды бегавшему по фронту то за врагом, то от врага, вполне достаточно, чтобы сигануть на подножку двухосного вагона. Солдат Хахалин хром все же и завис на подножке, но боевой товарищ, как ему и положено, не оставил напарника в беде, за шкуру втащил негрузное тело напарника наверх. Обнаружилось – вагон гружен коксом и на коксе густо народишку, едущего все больше из заграничных земель, заявляют дружно, что из плена возвращаются. Заморенный, напуганный, малоразговорчивый народ, на мародеров и дезертиров мало похож. Напугавшись поначалу военных, народ, большей частью бабенки, вступили с ребятами в разговоры, расспрашивали, что и как сейчас в России, плакали, рассказывая о мытарствах своих и муках на чужбине. Так вот, союзно, в пыльных коксовых ямках, без помех доехали до станции Волочиск – старая наша граница, проверочное здесь оказалось чистилище.

– Пр-р-раве-ерочка! – раздалось снаружи, из темноты. – Выходи из вагонов! Вылазь из затырок. Все одно найде-ом!

Стеная, ругаясь, дрожа от страха, разноплеменный люд, роняя и рассыпая барахло, вылазил из эшелона. Кто не отвык еще от немецкой дисциплины, тот положил манатки к ногам, кто взрос при советах и не забыл еще про это, сыпанул врассыпную, подлезая под вагоны, устремлялся вдаль, на волю. Засвистели, забегали военные, где-то у выходных стрелок харкнула огнем винтовка. Одни военные трясли ремки и проверяли документы у тех, кто добровольно подверг себя осмотру, другие военные, большей частью нестроевики, обшаривали вагоны. Наткнувшись на беглецов, уютно разлегшихся на коксе, сержант, сопровождаемый двумя автоматчиками, поинтересовался, кто такие?

– Не видишь, что ли?

Шевеля губами, сержант читал госпитальные документы, справки, листал красноармейские книжки. Наткнувшись на слова: «Последствия контузии, выражающиеся в приступах эпилепсии, остеомиелит», – и думая, что писано про какую-то заразу, сержант опасливо начал озираться, искать пути отступления.

– Это че такое?!

– Припадочные мы.

– Н-но! – и сержант закричал с облегчением, высунувшись из вагона: – Товарищ лейтенант! Тут госпитальники, припадочные, эпилепсия написано. Дак че, забирать?

– Только припадочных нам и не хватало!

Далее они ехали медленно, свободно, отдыхая. В трофейном чемоданчике оказался ровнехонько сложенный кусок шелка в милых синеньких незабудочках. Жорка-моряк сбыл его грабителям-перекупщикам на какой-то станции за пять тысяч рублей. Купили хлеба, сала, вареных картох, черешню и целую аптечную бутылку слабенького сливового вина, заменявшего беглецам воду и чай. Они даже умылись сливовым вином. Денег оставалось еще много, более трех тысяч. Друзья чувствовали себя панами и по-пански устроились в кабине трактора, на эшелон, груженный исключительно дорожной и сельскохозяйственной техникой, – охранник пустил на платформу-то – помогали госпитальные бумаги, в которых слово «эпилепсия», да и кривая нога Коляши действовали на проверяющих неотразимо. Охранник с платформы даже и вином не польстился, сказав, что этакую коровью мочу не потребляет. В какой-то кабине у него был затаен целый ящик заграничной самогонки под названием «виски», и, несмотря, что крепости она оглушительной, солдат пил ее кружкой, заедал консервой и фруктами. Ребята для приличия поддерживали компанию, но Жорка-моряк побрякал себя кулаком по голове – не выдерживает, мол, контуженая голова этакого изысканного напитка.

Жора звал Коляшу ехать в Горьковскую область, в большое село на Волге, где есть

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
ЭМТЭЭС, маленькая пимокатная фабрика, пристань, два колхоза – без работы не останутся.

– Нет, Жора, – со стесненным сердцем выдохнул Коляша, – сам себе я сделался в тягость, не хочу больше никого загружать собой. Ты в случае в припадок грохнешься, мне с кривой ногой быть в беззаконии. Я где-нибудь в пересылке, в нестроевой ли части залягу, и ничем уж меня оттудова не поднять будет до демобилизации. Я устал, Жора. От войны устал. От военных морд. Рана моя загрязнилась, сочится, кость, видать, гниет.

Рейд по Украине подходил к концу – печальный разговор завершал его. Приближалась станция Винница. Коляша решил сдать властям.

– Скажи, Коляша, это ты добился, чтоб капитан нас вытурил?

– Я, Жора, я. Не хотел поганиться сам, не хотел, чтоб и ты испоганился в той червивой помойке.

– Да-а, уж из помоек помойка. Я сперва недоумевал: воротятся из конвоя храбрые вояки, в столовую не ходят, держатся шайками и все чего-то шушукуются, прячут, шмыгают по базару. Потом усек...

– Они, Жора, уже знают, с каким офицером надо идти в поход и пожить. А бабы! Бабы – стервы! В чужое тряпье вырядились, чужое золото понацепляли. Эт-то сколько же они лихоимства и заразы в Россию понавезут?

Подразделения военных молодцов, вооруженных до зубов, пустив впереди броневики, где и до танков дело доходило, оцепляли десяток деревень, «зараженных» бендеровщиной, в ночи сгоняли население в приготовленные эшелоны, да так скороспешно, что селяне зачастую и взять с собою ничего не успевали. Если при этом возникала стрельба – села попросту поджигали со всех концов и с диким ревом, как скот, сгоняли детей, женщин, стариков, иногда и мужиков на дороги, там их погружали в машины, на подводы и свозили к станции, чаще – к малоприметному полустанку. Погрузив в вагоны, первое время везли людей безо всяких остановок, при этом истинные бендеровцы отсиживались в лесах, их вожди и предводители – в европейских, даже в заморских городах. Во все времена, везде и всюду, от возбуждения и бунта больше всех страдали и поныне страдают ни в чем не повинные люди, в первую голову крестьяне.

– Ты знаешь, Жора, насмотревшись на этих паскудников, я поблагодарил судьбу за то, что она не позволила мне дойти до Германии. Представляешь, как там торжествует сейчас праведный гнев? Я такой же, как все, пил бы вино, попробовал бы немку, чего и спер, чего и отобрал бы.

– Ох, Коляша! Чтобы испоганиться, как ты видел, неча и за кордон ходить, – и после долгого молчания еще произнес Жора: – Пропадешь ты, однако. Зачем одному человеку столько ума, таланту, доброго сердца, да еще и совести в довесок?..

– Половину ума и памяти мне, Жора, отшибло еще на Днепре, так что осталось в аккурат. Кроме того, мне от детдома досталось хорошее наследство – умение придуриваться, и ты придурь мою за ум принял.

На станции Винница моряк Жора все порывался отдать Коляше деньги – домой, мол, еду, зачем они мне. Взяв три сотни – на первый случай, Коляша обнял друга и, чувствуя, как у того заприплясывали губы, начал кособочиться, корежиться Жорка-моряк, похлопал по его исхудалой от приступов спине.

– Ну-ну, без дури у меня! Пить перестанешь – припадки пройдут. Заведешь бабу, кучу детей натворишь еще...

– Дак не давай жизнешке себя в угол загнать.

– Не дам, не дам!

Глазом опытного скитальца Коляша определил, где река, пошел к ней, перебрел на зеленый уютный остров среди города Винницы – на реке Буг было не перечсть их, развел костер, вымылся в речке с мылом, постирал белье-амуницию.

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevictor.ru](http://astafevictor.ru)  
Вечером к костру из тьмы мироздания выбрела любопытная утка, да такая жирная, что тендер у нее волочился по траве. Она сказала: «Кряк-кряк», – дескать, созрела я, готов ли вот ты, солдатик, попользоваться мной?.. Коляша поймал утку, свернул ей покорную шею, ошипал и зажарил птицу в углях, да и съел тут же половину. На другой день, дождавшись, когда подсохнет одежда, поскреб трофейным лезвием, вставленным в расщепленный сучок, усы, бороду, пришел подворотничок к гимнастерке, медали надраил, подвинул орден Красной Звезды и неторопливо отправился искать комендатуру.

Коляша топал по уютным, почти не тронутым войною улицам города Винницы, где совсем недавно бывал Гитлер, хотел увидеть что-либо, оставшееся от фюрера, но ни одной приметой, даже вони его нигде не ощущалось – такова, видать, судьба всех пришельцев – земля сама, вроде бы, с потаенной стыдливостью отторгает и стирает их следы.

В комендатуре было так людно, дымно и шумно, что Коляша поначалу ничего не мог разобрать: где власть, где посетители и, чтобы как-то вжиться в обстановку, оглядеться и сориентироваться, сел в угол на прибитую к стене скамейку.

На откидной барьер, сделанный наподобие сельмагов или почты, навалилась военная публика. У каждого военного горсть документов, у каждого неотложное дело, необходимые просьбы и всякая докука. Лейтенант с орденскими колодками и с планками о ранениях, потный, взъерошенный и выветренный, что прошлогодняя еловая шишка, что-то у кого-то брал, смотрел, читал, передавал документы старшему сержанту, заносившему какие-то данные в журнал, но чаще возвращал бумаги, отстраненно бросал: «Ждите!», на минуту прислонялся спиной к давно не топленной голландке с сорванной дверцей, призывал издали безразлично и монотонно: «Не торопитесь. Успеете на тот свет. В очередь, в очередь!..»

Чувствовалась напряженность, даже внутренняя перекаленность и страшная зоркость этого человека. Вот лейтенант зацепил взглядом в толпе мордатого сержанта в комсоставском обмундировании, с узкой портупеей через плечо, с медалью «За боевые заслуги» и значком какого-то года эркака. Сминая публику, будто использованные сортирные бумажки, сержант устремлялся к барьеру, пер на власти. Лейтенант отбросил себя от голландки, принялся смотреть, читать, проверять бумаги, отдавать их на регистрацию или возвращать, роняя: «Подождите. Минутку терпения». На сержанта, оседлавшего барьер, почти перелезшего через преграду, лейтенант не обращал никакого внимания. Выбирая из протянутых рук, будто на митинге солидарности или протеста, листовки и прошения, он как бы ненароком обходил кулак сержанта, словно брюквенную садовку в огороде, к еде не пригодную, – с нее только семя, да и то не скоро.

– Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! – уже в самый нос лейтенанту тыкался кулак с зажатými в нем бумагами.

– Ты куда прешь, морда?! – отстраняя кулак, сталкивая сержанта с барьера, рывкнул лейтенант. – Тебе здесь базар?! Барахолка?!

Сержант осел, стушевался, впал в растерянность. Публика, усмехаясь, смотрела на него – что, выкушал?! Тут, брат, власть, военный порядок! Молчаливой солидарностью, негласным союзом с властью и отчуждением от повергнутого просителя каждый клиент надеялся на снисхождение к себе.

Но сержант был не из таковских, быстро пришел в себя после сокрушения и застучал кулаком по медали так, что она затрепыхалась и жалобно зазвякала о пряжку на портупее.

– Не имеешь права орать! Я кровь проливал!..

– А я че? Сопли?

– Кто ты знает, вон ряшку-то отъел!..

Лейтенант с усмешкой глянул на него и, дивясь явной глупости человека, чуть подзадрал рыло, повертел головой слева направо, сравните, дескать, дорогие товарищи! Публика еще больше осмелела, еще плотнее солидаризировалась с властью, начала оттеснять сержанта от барьера, став стеной между властью и страждущим, отставшим от эшелонов, задержанным на вокзалах и улицах без увольнительных, кто

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru) и без документов, несомым, качаемым послевоенным беспокойством, бескрайним морем народа. И Коляшу Хахалина вот дернул черт высадиться на землю с многолюдного корабля. Ехать бы вместе с Жоркой-моряком до дому. Ухнет его этот горлопан-дежурный в какую-нибудь яму вроде львовской пересылки или ровенского конвойного полка...

– Ты видишь, в углу солдат сидит?

Коляша не сразу уразумел, что речь идет о нем. Уяснив, наконец, что слова лейтенанта направлены в его адрес, вскочил, дал выправку, на какую был еще способен. Медали на груди звякнули и разом замерли.

– Орел! – восхитился лейтенант. Коляша ел его глазами. – Час сидит, другой сидит! И ни мур-мур. А почему сидит? Да потому, что фронтовик, страдалец, окопник доподлинный! Вон у него нога кривая – всю красоту парню испортила, здоровье усугубила... А он сидит, череду ждет. Дай место фронтовику!..

И не только сержант, но и все вояки двумя стайками разлетелись на стороны. Коляша приблизился к барьеру, доставая из нагрудного кармана документы.

– Ладно. Потом! – милостиво придержал его руку в карманчике лейтенант и, не спрашивая, курит Коляша или нет, выщелкнул из пачки папиросу. – Отстал от эшелона? – как о само собою разумеющемся, молвил лейтенант.

Коляша засунул пальцем папиросу обратно, показывая на грудь – не до курения, мол.

– Отстал.

– Куда ехал?

– В Николаполь, – мгновенно соврал Коляша, заранее придумав, неизвестно почему и отчего пришедшее ему в голову название города, о котором ничего он никогда не слышал, никогда в нем не бывал.

– В Николаполь?! – назидательно поднял палец дежурный. – Никель копать. На тяжелую работу, после ранений... А вот сидит, ждет. А ты, морда! – по новой начал вскипать дежурный, отыскивая глазами сержанта. Но тот схоронился в массах. – Я тя все одно найду! Из-под земли выкопаю!.. Я узнаю, где ты взял медаль, сапоги и по какому праву носишь комсоставскую амуницию, – тут он позвонил в школьный звонок и, когда вошел постовой с автоматом, будто сгребая пешки с доски, приказал: – А ну, всю эту шушеру на губу! А того мордovorота... Где он? Его в подвал! А ты, солдат, как тебя звать-то? Николай. Хорошее имя! А я вот Николаич буду. Да-а, Виктор Николаевич. Победитель, значит. Да вот устал победитель-то...

Лейтенант завел Коляшу в столовку комендатуры, где им было выдано по тарелке супу с раскисшей уже вермишелью, отдающей жестью, и пшенная каша с маслом. Побродив в супе ложкой и не притронувшись к каше, лейтенант залпом, как водку, выпил компот и, выбирая ложкой из стакана фрукты, сказал, мол, коли еще охота каши, можно его порцию есть или попросить добавки.

– Ты мне поглянулся. Если хочешь, то можно до демобилизации остаться у нас. Служба, правда, собачья. Грязь, кровь, нервы навыверт, но демобилизация вот-вот... Словом, подумай. Переспишь в нашей общежитке – один наш парень на три дня домой отпущен. Похороны. Погулять, побродить захочешь – скажи часовому, я велел. Танцплощадка близко, хотя какой из тебя танцор? Да и триперу иного. Наоставляли трофеев оккупанты. Годов двадцать вычищать чужую заразу, а у нас и своей... Ну, отсыпайся. Завидую! Я на фронте взводным был, затем ротным. Завидовал солдатам: лег, свернулся, встал, встряхнулся...

В общежитии Коляше показали на койку возле окна, чисто и аккуратно заправленную. В тряской, бесконечной дороге да и на острове Коляша вдосталь выспался, и спать ему не хотелось. На тумбочке лежала толстая книга «Кобзарь». Коляша отправился в ближайший скверик, отыскал местечко потенистей, лег на траву, открыл страницу:

Рэвэ тай стогнэ Днипр широкий,  
Сэрдитый витэр завыва...

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
Ах ты, Днепр, Днепр! Тысячеверстная река и вечная теперь память и боль людская.  
Ох, и широк же Днепр! Особенно ночью. Осенней ночью. Темной, холодной, когда  
окажешься в воде среди людского, кипящего месива, под продырявленным фонарями  
небом, весь беззащитный, весь смерти открытый, и река совсем холодная и без  
берегов...

Рэвэ тай стогнэ Днипр широкий...  
Он и стонал, и ревел тысячами ртов.

Внимание Коляши привлекли две девчушки в платьицах горошком и с маковыми лепестками-крылышками на плечиках вместо рукавов. Обе круглоглазые, тощенькие, с облезлой от солнца кожей, они играли в пятнашки, бегая вокруг скамьи, уставши, плюхались на скамейку, где лежали два пакетика с вишнями, церемонно одергивая платьишки на коленях, плевались косточками – кто дальше, целясь угодить в заплату поврежденного взрывом или гусеницей клена, и о чем-то все время перешептывались, Он наблюдал, как они доставали из кульков за стерженьки ягоду, как губами срывали ее, катали во рту, и губы на испитых лицах девочек становились все более алыми от сока, худенькие их мордашки, казалось, тоже зарозовели.

По траве зашуршали сандалии и утихли подле него. Коляша не слышал детских шагов, не видел девчушек с протянутыми к нему кульками. Он читал «Кобзаря» и никак не мог уйти дальше первой строчки: «Рэвэ тай стогнэ...»

– Дяденьку! А, дяденьку!

Вот Коляша уже и дяденькой стал! Сам не заметил когда.

– Что, мои хорошие? Мои славные, что? – Коляша изо всех сил держался, чтоб не заплакать от умиления – дяденькой назвали!

– Покушайте вишен! – протянуты два пакетика, сделанные из старых, исписанных тетрадных листов, две пары глаз полны чистого к нему внимания и глубокого, еще не осознанного голубиными детским душами страдания, на которое женщина, видать, способна бывает сразу после рождения, может, даже до зачатия, еще растворенная в пространстве мироздания.

Неужели эти крошки уже ходят в школу? Нет, еще не ходят. Листики скорей всего вырваны из тетрадей старших братьев... а они... тоже там, на Днепре, ночью...

– Вишен? – Коляша приподнялся, сел на траву и, запустив щепотку в один пакетик, за стебелек вынул переспелую, почти черную, сморщенную вишенку.

– И у меня! И у меня! – заперебирала нетерпеливо ногами вторая девочка.

Коляша и из второго пакетика вынул вишенку, со вкусом прищелкнул губами, зажмурил глаза и долго их не открывал, показывая, какие замечательные, какие сладкие у девочек вишни. Девочки понимали, что дядя маленько подыгрывает, веселит их, захлопали ладошками по коленкам.

– Вы – сестрички, – уверенно сказал Коляша, – и одну зовут Анютой, а вторую?

– Галю! – подхватила Аня и нахмурилась настороженно: как это дядя узнал ее имя? – А-а! – обрадовалась Аня, – мы гралы близзенько, вы почулы! Вы – разведчик?

– Был и разведчиком, дивчины мои славные! Спросите, кем я не был.

– А у нас тату нимцы... убивалы людын дужэ...

– Давайте лучше вишни доедать, дивчинки.

– Давайте, давайте! Мы ще прынэсэмо! У нас богато вишен, вот хлиба нэмае. Мамо стирае бойцам, воны трохи каши дають та супу, цукру раз давалы, билиый-билиый цукор!

Что бы подарить девчушкам? Ничего у солдата-бродяги нету: ни безделушки, ни сахарку, ну ничего-ничего. Он притянул девчушек к себе и поочередно поцеловал их

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
в кисленькие от вишневого сока щеки – и они, дети несчастного времени, почували, что ли, его неприкаянность, обхватили худенькими руками за шею, прижали изо всех сил к себе и разом зашептали на ухо солдату, будто молитву, заговор ли, со взрослым, страстным чувством:

– Нэ надо грустить, дяденьку! Нэ надо. Вийна-то скинчилась...

Милые девочки из далекой Винницы! Почему-то хочется верить, и Коляша верит до сих пор, что судьба у них была такой же светлой и доброй, какими сами они были в голодном послевоенном детстве. В одном пакетике еще оставались вишни, Коляша давил их во рту, обсасывал косточки, бережно нажимая языком на каждую ягоду, чтоб надольше хватило ему вишен, чтоб продлилось в его сердце то ощущение родства со всеми живыми людьми, которым одарили его маленькие девочки.

За обмелевшим, заваленным военной и невоенной рухлядью прудом, среди которого упрямо желтели кувшинки и над которым величаво и нежно клонились плакучие ивы, ударила музыка – духовой оркестр. Сразу сжалось что-то внутри, томительно засосало сердце Коляши. Не умеющий танцевать даже гопака, он пошел на голос вальса, название которого знал еще по детдомовской пластинке – «Вальс цветов». Но всегда мелодия вальса была для него неожиданной, всегда слезливо размягчала сердце. Танцы происходили в загородке, аккуратно излаженной немецкими саперами из тонкой, но крепкой клетчатой проволоки. Взявшись за проволоку, парнишки, инвалиды из госпиталей – и Коляша вместе с ними – глядели не отрываясь, как кружатся пары в проволочном квадрате, в углах поросшем травой, в середине же выбитом до стеклянистой тверди.

С мужской стороны танцевали все больше военные, и все больше хлыщи какие-то, узкопогонники, но местами и нестроевик кособочился, пытаясь скрыть хромоту, старательно поворачиваясь к партнерше той стороной лица, которая не изодрана, не сожжена, не дергается от контузии. Светится, целится глаз героя, намекающий на тайность, влекущий куда-то взор ввечеру разгорается все шибче и алчней.

В комендатуре Коляшу, оказывается, ждали. Еще днем, когда дежурный лейтенант бушевал за барьером, от патрулей поступило несколько сообщений: «С проходящего эшелона орлы взяли самогонку у базарной тетки, но деньги отдать забыли». С другого проходящего эшелона какие-то одичавшие бойцы или штрафники-громилы пытались подломить ларек и склад в ресторане. «Небось, орлы Дунайской флотилии продолжают свой освободительный поход». Эшелон задержан, «представители» его заперты под замок. «На базаре при облове учинен погром, была стрельба, удалось взять несколько бендеровцев и подозрительных лиц без документов». Но все это дела текущие и текущие, все это поддается контролю, все усмирено и утишено. А вот как быть со старшиной Прокидько? Он, как приехал, ни одного еще дня трезвый не был, изрубил все домашнее имущество, чуть не засек топором жену свою, грозитя поджечь дом, истребить слободу Тюшки, испепелить всю Винницу. Пока же, примериваясь к гражданской жизни, он дал в глаз участковому милиционеру.

Лейтенант все это выслушал с покорным терпением, привычно прижимаясь спиной к нетопленной голландке. Когда патрули выгрузили новости, послушал еще, как на высшем нерве звучит возле комендатуры самогонщица: «Хвашисты грабили! Бендэра грабила! Червоноармийцы, буйегоматы, тэж граблють!..» Не дослушав до конца выступление самогонщицы, лейтенант приказал прогнать ее из-под стен комендатуры. Если тетка торгует запрещенным товаром, то пусть хайло свое во всю мощь не разевает, пусть бдит – сейчас едет до дому самый-самый бедный и опытный воин – пятидесятилетнего возраста, нестроевик тучей прет на восстановительные работы – у этого народа на теле одни шрамы, осколки да пули, но за душой ничего не водится, он чего сопрет, то и съест, кого сгребет, того и дерет. Если эта тетка попадется еще раз и будет орать на весь город антисоветские лозунги – он ей такую бумагу нарисует, что она до самой Сибири ее читать будет...

– Что касается грабителей с эшелона и жертв базарной облавы, – всех передать военной прокуратуре – и взятки с нас гладки. Они – санитары страны, вот пусть и санитарят.

Простые, деловые и точные решения, как у Кутузова в сраженье. Сложнее обстояло дело со старшиной Прокидько. Лейтенант знал о нем многое, но не все. Иезуитскими методами Прокидько добыл признание у своей жены, что она не соблюла верности во время военных лет, при оккупации. Сердце воина-гвардейца вскипело, гнев его беспощаден и, конечно же, праведен. Лейтенант думал, что старшина снялся с

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
военного учета и ни с какого уже боку комендатуре не подлежит, так пусть себе бушует, поджигает эту сраную Винницу со всех сторон. За один подбитый глаз милиция ему, между прочим, подшибет оба, да еще нечаянно три ребра поломает. Но, впад в неистовство, старшина Прокидько совершенно перестал ощущать реальность жизни, не считался с законами морали и военной дисциплины – нигде, ни на какие учеты он не вставал, никаких властей не признавал. Буйствует! «За Собиром сонце всходить!» – поет, видать, уже явственно видя эту самую Сибирь. В комендатуру явилась делегация из слободы Тюшки, просила оградить покой и жизнь громодян от совершенно распоясавшегося старшины Прокидько. Служивого народу в комендатуре никого не оказалось. Коляша выдали заряженный автомат и просили воздействовать братским авторитетом на старшину Прокидько или уж арестовать его и доставить в комендатуру.

Пехотный старшина Прокидько, поникнув головой, сидел спиной к двери на давно не мазанном полу, среди разгромленной и порубленной рухляди. Перед ним стоял глиняный жбан, мятая алюминиевая кружка да железный таз, наполненный вишнями, сливами, надкушенными яблоками, выплюнутыми косточками. По правую руку гвардейца покоилась тупая секира, спадывающая с неумело насажденного топорика. Коляша отодвинул секиру ногой и обошел Прокидько. В серой, дикой щетине, обросший больше по лицу, чем по голове, тоже уже заиндевело с шеи и висков, с чугунно из-под глаза к носу и к уху растекающимся синяком, с тремя рядами развешанных орденов и медалей, среди которых золотоцветом горел гвардейский значок, Прокидько сидя спал и до активных действий по уничтожению родных Тюшков и города Винницы ему было гораздо дальше, чем до больницы.

Битый, чуткий фронтовик почувствовал перед собой человека, с огромным усилием открыл один глаз, попробовал разомкнуть второй, попытка не увенчалась успехом.

– Налывай, хлопче! – хрипло произнес Прокидько.

Коляша налил, выбрал несколько грушек из фруктовой мешанины в тазу и, понюхав кружку, зажмурившись, выпил.

– Мэни тэж налий. – Коляша уставился на старшину. – Ни похмэлывшись, вмэрэть можу, – пояснил Прокидько.

Держать кружку Прокидько мог уже только двумя руками и, стучая посудиною о зубы, со стоном высосал жидкость, после чего сыро кашлял, болтая головой из стороны в сторону.

– Тютюн кончився. Закурить дай! и ахтомат у кут поставь. Ты шо, воювать прыйшов? Знайшов врага! – пытаюсь усмехнуться, старшина покривился ртом. – Дэ воював?

Коляша сказал где. Старшина долго молчал, затягиваясь от сигарки и щурясь.

– Двадцать четвертый? А я двадцатого року, у кадрової начав, на гранце – яки мои роки тэж? Седеть начав у сорок пэршэму роци. Як товарищу кирпонос нас кынув, а сам застрэлывся, мы з червоноармийцив у побирушек, у шакалив прэвратились... – По щетине Прокидько катились и падали в таз крупные слезы. – Налый! – встряхнулся старшина, утирая ладонью лицо и показывая на жбан, – ще трохи...

Гость налил, и вояки сделали по братскому глотку.

– О-ох, що мы пэрэжылы, хлопэць! Що мы пэрэ-жылы!.. – короткое рыдание, похожее на кашель, сотрясло обмялое тело старшины Прокидько: Не в силах дальше говорить, он тыкал в глаза кулаком, измазанным соком вишни. – А воны тут! Воны тут...

– Андрий Апанасыч, я схожу за женою? – Коляша начал робкую разведку словом.

Прокидько ничего ему не ответил, ниже и ниже опускал он голову, и остальные слезы, застрявшие в щетине, копились в морщинах, затопляли лицо. Коляша вышел в темную уже улицу и сразу почувствовал напряженные глаза и уши по всей оробело притихшей Тюшке.

– Давай жену! Быстро!.. – скомандовал Коляша во тьму. Из-за тынов, кустов и дерев метнулась армия доброхотов в известную всем хату или в сарай, где хоронила изменщица. Через минуту, чуть не сшибив Коляшу, подбирая на ходу волосы, повязывая хустынку, стряхивая сор и солому, мимо промчалась женщина и,

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
рухнув через порог хаты, протягивая руки, на коленях поползла к мятежному «чоловику».

– Андрюшечку-у!.. – кричала она. – Коханий мий! Та вбий ты мэнэ, як суку послідню, вбий, шоб тики тоби лэгше було.. вбий!.. вбий!.. – и обхватила седую голову, целовала, ела, клевала ее и кричала, кричала, слова не складывались, женщина выла дико, смертно, будто раненая, одинокая волчица в студеном поле.

Великий воин, грозный громило, Андрей Апанасович Прокидько не удержался, забыв о гордом мщении, тоже обхватил богоданную свою жену, и они, сгребшись в неистовом объятии, теперь уже вместе выли, облегчаясь горестной сладостью всепрощения.

Коляша отсыпал из баночки табаку на подоконник, отломил от коробка корочку со спичками – все это добро на всякий случай оставил ему друг Жора, дай Бог моряку доброго пути, не раз уж табачок пригодился Коляше, – и тихо вышел из хаты.

Над землей стояла темная, мирная ночь. Над хатой Прокидько горели яркие украинские звезды, за войну хата сдвинулась не только папахой, но и всем корпусом шатнулась под гору.

Утром Коляша попросил лейтенанта отправить его куда-нибудь в другое место – служба в комендатуре не подходит ему, он не годился для нее – слишком мягок сердцем.

Лейтенант внимательно посмотрел Коляшины документы, покачал головой:

– Ну и помотало тебя! Покоя охота? Мне тоже. Со львовской пересылки самовольно рванул?

– Так.

– А напарник где? Без напарника нынче не бегают, да еще со львовской пересылки, на всю землю знаменитой..

– Домой уехал.

– Вот дурак! Без демобилизационного листа его ж загребут и в тюрьму посадят.

– Не посадят. Он припадочный.

– А-а. Ты вот что, победитель, отправляйся к Старокопытову на пересылку. И замри! Понял? Замри! Япшек скоро расхлещут, и конец, совсем конец! Понял? У Старокопытова отсидеться подходяще. У него порядок. Хотя сам он чудо из чудес. Ну, да увидишь.

И Коляша увидел капитана Старокопытова. Он самолично просмотрел его документы, затем Коляшу обмерял взглядом, будто портновской лентой, и сказал:

– В карантин! В чистилище! И смотри у меня! – и вперился в Коляшу глазами, которые в народе точно называют – буркалами.

Это была первая пересылка, первый порядочный резервный объект, где много соответствовало тому военному идеалу, который давно существует в воображении советских военных спецов-идеологов, в советском искусстве и в литературе, но на самом деле его не было и нет, потому что сами спецы-идеологи находятся вдали от нужд и бед армии, они жируют и барствуют, как и генералы всех времен и наций, – на отдельных хлебах, пользуются особым положением и благами, считая, что так оно и быть должно, так если не Богом, то высшим командованием определено: одним – казарма, шишки да кашка, другим – особняки, дворцы, паек с дворцового стола и яркие лампы, звезды на погонах жаркие, слава и обожествление на все времена.

Лучше всех об этом почти двести лет назад сказал лихой герой и поэт Денис Давыдов в коротком стихотворении с длинным названием: «Генералам, танцующим на бале при отъезде моем на войну...»: «Мы несем едино бремя, только жребий наш иной. Вы оставлены на племя, я назначен на убой».

От Старокопытова, с винницкой пересылки, вместе с командой таких же, как он, забракованных, в лечении нуждающихся доходяг Коляша Хахалин угодил в уютное



Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru) местечко, куда сваливались остатки недобитых калек, как выяснилось, в скитаниях по отвоеванной земле сделавшихся сразу никому не нужными – ни родине, ни партии, ни вождям, ни маршалам, продолжающим праздновать Победу, славить себя, заодно и народ, радость и ликование которого каждый день показывали в киножурнале «Новости дня». А вот горе людское, беды и разруху показывать пока воздерживались из гуманных соображений, чтобы не травмировать чуткие, от войны усталые сердца советских людей.

В здешнем полупустом, заглушающем госпитале лечили калек недолго и плохо. Здесь со дня на день ждали полной ликвидации и потому воровали, тащили со двора все, кто чего мог унести, увезти, продать. Начальники и комиссары везли машинами, кладовщики и завхозы – возами, врачи, медсестры, санитары и санитарки – узелками.

В местечке стояли две военные части, и обе женские: скромный военно-почтовый сортировочный пункт и рядом военная цензура с жопастыми, в комсоставское обмундирование наряженными девицами. И в той, и в другой части кадры были уже подержанные, перестарки, и они охотно дружили, сходились и даже частенько потом женились с нестроевиками-солдатами. Ну, это уже кроме тех, кто за войну тут, в госпитальном и хитром тылу, устроил междусобойчик, даже детишек нажили в военном благоденствии.

Представитель военно-почтового пункта, набравший нестроевиков в винницкой пересылке и заскребший остатки в местном госпитале, не надул нестроевиков, точнее, надул, но не очень сильно и коварно, как мог бы. Совсем не надуть – это уж у нас невозможно нигде, тем паче в армии, человечество ж вымрет от правды, как от перенасыщения воздуха кислородом, у него, у человека, в первую голову у советского, и голова, и сердце, и легкие приспособлены к воздуху, ложью отравленному.

Местечко и в самом деле было тихое, уютное, отбитое от шумных дорог и железнодорожных путей. Располагалось оно безо всяких затей и хитростей, возле речки, к сухой поре бабьего лета превратившейся в ручеек. К речке той со всех сторон спускались пологие холмы, порой норовисто, по-бычьи упирающиеся лбом в речку, бодающие ее в бок, оттирающие в залуку, ссылая со склонов рядки садов. Зеленые вершины логов извилисто восходили к хлебным, картофельным, подсолнечным и всяким прочим полям, совсем не тучным, как во многих других местах Украины, но все же изобильным. Сама же речка в селении, загороженная во многих местах ставочками, прудами, истолченными по берегам и мелководье скотом, усыпанными гусиным, утиным и всяким прочим пером, заросшими объединенной осокой, обсыпанными пупырьками обритых кочек, так и не становилась более в селении речкой, делаясь сплошной зеленой лужей. За домами, вдаль от селений, речка постепенно высветлялась, набирала ход, все далее отводила от себя дороги, поля, оставляя внизу стройные ряды тополей, ветел, обрубыши верб, укрывалась моросью перелесков, переходящих в настоящий лес, по роскоши своей и породам деревьев тоже напоминающий сад, но только одичавший от недогляда. В середине леса росла даже полоска хвойника, свежего цветом и соком, притиснутого к светлому ключу раскидистым дубом, вкрадчиво нежными ясенями, грабом, угрюмо и упрямо чернеющими стволами и красно горящими кленами. Осинники здесь были голотелы, стройны и бились, трепетали круглыми макушками так высоко, что надо было заирать головы, чтобы увидеть и узнать, кто это так привычно, тревожно и родственно приветствует тебя ярким листом. И чудо, невиданное и неведомое таежникам: меж осин, берез, грабов, ясеней и кленов кражисто возникало дерево с коричневым стволом, порой и более толстым, чем у дуба, и оказывалось оно черешней, лето круглое сохраняющей в гущине леса обжигаше-сочную ягоду. Попадались и груши с твердыми, что камень, к зимним холодам лишь созревающими плодами.

Причудлив и роскошен украинский лес, из полей, из садов и перелесков возникший, снова уходящий в поля, перелески, в сады, но долго не расстающийся с братской дубравой, со спрятавшимся в нем ключом, так густо опутанным ягодниками и кустами, что не вдруг и сыщешь его исток, сыскав же, открыв, ощутишь такое чистое, такое светлое дыхание, что невольно склонишься к воде, захочешь поглядеться в нее, притронуться к ней потными губами, заранее чувствуя, как пронзит сейчас твое усталое тело острая струя и воскреснет в тебе сила от настоящей на корнях и напитанной лесною благодатью воде, и подмигивающее ресницами травы лесное око оживит в тебе бодрость, полуугасшее желание куда-то стремиться, кого-то встретить и рассказать о тайнах леса, может статься, отворив свою собственную грудь, открыть кому-то восторженное сердце.

Ключ лесной, превратившись в ручей, скатившись к местечку, делил его напополам, да еще и на краюшки. Через насыпь, вверх по лысине затажного склона плелась старинная дорога, мощенная крупным камнем. По ту и по другую сторону тенистой поймы, рядом с дорогой стояли две школы: по левую – одноэтажная, глаголющая строенная из кирпича уже в советское время – начальная школа. По правую – кинутый кем-то и когда-то двухэтажный особняк, усилиями новых подвижников соединенный с массивным, кряжистым собором.

В улочках и щелях переулков местечка лишь к середине лета высыхала и сей же момент превращалась в пороховую пыль знаменитая украинская грязь.

В начальной школе, на сортировочном пункте работало больше сотни девушек, успевших за войну приблизиться к роковому девичьему возрасту. Девушек подзадержали на неопределенное время – они должны были научить нестроевиков изнурительному сортировочному делу.

Корпус школы был вроде длинного, неуклюжего загона, разделен на отдельные купе, в которых один на другом стояли деревянные ящики, в них сотами сбиты ячейки, и у жадной ячейки своя буква – индекс крупного военного соединения. Здесь, в глухом местечке, происходила первая сортировка почты: по соединениям фронта, затем читка почты цензурой, отправка ее в полевые почты, по дивизиям, полкам, где другие почтовики сортировали почту по воинским частям фронтовой уже полосы. И, наконец-то, разобранные, исчерканные, штемпелями обляпанные письма добирались до передовой. С передовой выделялся боец за почтой в ближние тылы. И, о радость, о счастье, письмо достигало адресата, часто уже не к месту и не к сроку – выбыл адресат, известное дело: на передовой долго не удержишься.

Поток почты возрастал по мере приближения Дня Победы. После Победы просто захлестнуло военные почтовые подразделения бумажной безбрежной рекой. Полных два, иной раз три кузова мешков с почтой привозилось со станции, и среди этих пыльных, не раз чиненных мешков были кульки поменьше, понепромокаемей – с почтой служебной, как правило, «срочной». Девчонки-сортировщицы давно уже не справлялись с потоком почты. Мешки с письмами штабелями лежали в «службах», свалены были по углам и закоулкам.

В середине лета госпиталь, с которого все было украдено вплоть до деревянного пола и дверей, расформировали и тех солдат, что на ногах и с руками, из госпиталя переправили на военную почту – заменять девчат, которых вместе с контингентом военных свыше пятидесяти лет должны были демобилизовать.

В почтовом пункте, в пыльном приделе-кладовочке распечатывала мешки с почтой, рылась в бумагах, распределяя пачки писем по сортировочным цехам, тихая мышка по фамилии Белоусова, по имени Женя, которую все тут отчего-то звали Женярой. Помогая девчонкам, недавние госпитальники все перезнакомились с сортировщицами.

Сортировщицы, осмотрев мужское пополнение, с ходу забраковали половину этих кадров, отсеяв в первую голову кривых, одноглазых и хромых. Выбракованный Коляша Хахалин угодил в кладовку, где среди мешков вилком капусты торчала коротко стриженная голова Женяры Белоусовой, и поступил в ее, так сказать, распоряжение и, как потом оказалось, надолго. Хромого бойца, не могущего день напролет прыгать возле сортировочного стеллажа, навело на девицу, именуемую то экспедитором, то оператором.

Но вот война кончилась и на Востоке. Пришла пора военным людям расходиться по домам. Коляша с Женярой к этой поре уже вместе квартировали у одинокой старой женщины – за дрова и за то, что отделяли хозяйке часть своего военного пайка, она определила их в светелку, сама ютилась на кухне. Стояла осень. Урожайная. Фруктов и овощей было не переест, кое-что и на военном складе хранилось еще, кое-что зарабатывали мужики, помогая восстающим от разрухи колхозам.

С помощью пополнения почтовый пункт сумел «расшиться» с почтой, ликвидировать завалы ее. В связи с ликвидацией воинских частей, переброской многих из них на восток, часть почты активировалась и сжигалась. Но продолжали стучаться в военную стену вдовы и дети, потерявшие кормильца, а то и всех близких, не веря, что никуда уж им не достучаться, никого не дозваться, вестей ниоткуда не дожидаться.

Сортировочная работа, напоминающая танцы в клетке, очень однообразная, тяжелая к

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru) тому же и заразная. Далекая российская провинция посылала на фронт не только поклоны от родных и пламенные приветы возлюбленных, но вместе с письмами чесотку, экзему, а братские народы, в первую голову азиатские, – паршу, лишаи всех расцветок и мастей, даже и проказу. Поэтому у входных дверей сортировочного блока постоянно стояли два ведра: одно с соленой водой, другое с керосином. Девчонки мыли руки перед работой и после работы. Кожа на молодых руках сморщилась, шелушилась, в помещении и от самих сортировщиц тащило керосином. Многие девчата от бумажной пыли и гнилого, почти никогда не проветриваемого помещения болели легкими, кашляли хрипло, будто от тяжелой простуды. Женяра же Белоусова в своей тесной кладовке и вовсе задышалась, у нее начиналась бронхиальная астма.

Вот такая вот почтовая, легкая работа поджидала ребят-инвалидов. Но местечко тихое, столовка сытная, баня в неделю раз, сады, заваленные фруктами, обилие девок, истосковавшихся по гуляньям и свиданьям, делали свое дело. В райском местечке закипела не только почтовая работа, но и воспрянули роковые страсти. Такое началось кипенье кровей, столько любовных порывов произошло, что содрогнулся б и крупный город, сошла бы с места и разрушилась от любовного накала иная дряхлая столица. Оробевшее поначалу местечко, застенчиво спрятавшееся в дерева и в листву, далее в осень, все больше и больше обнажалось, лупило глаза на разного рода гулянья в веселья, млело от музыки и песен, таило шепот и звук поцелуев в своих развесистых кущах.

На почтовой машине шоферил совершенно развратившийся за войну, спившийся, красноглазый, желтый ликом, слипшимся в преждевременные морщины так, что уж и лик этот напоминал лежалый, не раз к больной ноге привязываемый лист лопуха. Кирька Шарохвостов, по которому давно плакало местов в штрафной роте или в тюрьме, он успел поджениться, во время боевых походов сделал руководящей каким-то секретным отделом лейтенантше ребеночка. Лейтенантша имела совершенно невинный, измученный вид, да и хитра была очень, вот и не отнимали от нее Кирьку-мужа, который в угоду жене притворялся размундьяем, но, как только их демобилизовали, они ринулись в Ригу, захватили там квартиру выселенных латышей, чем вместе с другими, такими же «патриотами» шибко способствовали дружбе «братских народов», вскоре построили дачу на взморье, разумеется, на свои «скромные сбережения». Кирька на гражданке сразу сделался деловит, скуп, пил только по праздникам, с разрешения жены, которая устроилась в инспекцию по иностранным судам, шибко раздобрела, сделалась одной из самых богатых дам в Латвии.

Вплотную наступила осень. За нею должна была последовать и зима. Почтовый пункт, засыпанный по двору и крыше мелкими, рот вяжущими грушами, хоть и неуверенно, начинал готовиться к зиме. Нестроевиков бросили на заготовку дров. И тут Коляша Хахалин, и сам мужик не промах, познал разворотливость и предприимчивость Кирьки Шарохвостова.

Валили лес в той самой роскошной дубраве, что баюкала в глуши своей синий ключ. За дровами должны были делать два рейса: один до обеда и один после. Но кирька мобилизовал в помощь бригаде еще двух местных деляг, и заготовители стали делать три рейса – два в благословенное место, к почте, и один или два – во дворы грамотян, где работяг уже ждала самогонка, добрый ужин и горсть денег. Бревна, заготовленные на дрова, в особенности дубовые сутунки, были тут на вес золота, потому как многие хаты и постройки нуждались в ремонте, и, поскольку наступал долгожданный мир, люди готовились строиться, обзаводиться худобой, укреплять хозяйство, на первый случай – свое, затем и колхозное.

Союз, заведенный Коляшей с Женярой, получил распространение, хотя и норовили парни взять девок на шарап, как базарные налетчики, но не больно-то получалось. Девки за войну обрели опыт обороны, обучены были, как тактически, так и практически – придерживались дистанции в поведении, целовать, даже щупать себя давали, но дальше уж только хитростью и напором можно было брать ослабевшую от страсти крепость. А какая сила у недавних госпитальников? Девки ж на тыловом питании раздобрели, да еще фрукты кругом, да овощи, по квартирам молоко да сало. Все в девках вызрело и налилось, клапаны на нагрудных карманах гимнастеров уже не клапаном выглядели, но козырьком генеральского картуза.

Началась демобилизация и отправка девушек домой. Не всех сразу, малыми партиями. Сколько трогательных сцен, сколько слез и горя! Ведь многие девушки за четыре года войны стали друг другу что родные сестры, а тут еще и эти, «преемники»,

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
успевшие затуманить мозги девчонкам, кое-кому и наобещать всякой всячины, под  
обещания, в густом угарном тумане похитив последнюю девичью ценность, сдобное  
брюхо им на прощанье подарив.

Не один и не два Коляшиных корешка сутками скрывались в конюховке или уходили в  
леса, укрывались в ближних селеньях. Но большая часть терпеливо и честно несла  
крест, толклась возле машин, обещая писать подругам без передыху письма и  
непрерывно приехать, куда надо, в качестве мужа. Когда машины, наконец, уходили,  
кавалеры вздыхали освобожденно, иные даже и крестились, хотя были почти сплошь  
безбожники. Наиболее пылкие и верные кавалеры ездили прощаться со своими  
кавалершами на станцию. Возвращались подавленные, увядшие, даже и заплаканные.  
Над ними посмеивались. Коляша сочинял частушки, припоминал анекдоты  
непристойного свойства.

– Как же нам-то быть, Колька-свист? – спросила Женяра Коляшу.

И он, мелко покашливая, чистосердечно ответил:

– Не знаю.

– Да как же ты не знаешь? Я же уж беременна...

– Вот как! – удивился Коляша. – От кого?

– От тебя самого!

– Но ты ж говорила, что предохраняешься. Значит, кто-то объездил тебя еще до  
меня – ловкие тут попались ребята...

– От тебя предохранись!.. – загрустила Женяра. – Дорвешься, что тебе паровоз,  
красным фонарем не остановить...

– Ну, коли мой кадр – рожай. Интересно все же, кто там в темноте получился?  
Только вот где жить-то будем? У меня на всем свете кроме тебя никого и нету...

Женяра предложила остаться на Украине, в местечке, – она не по годам  
рассудительная была и предлагала в сытом месте переждать худое послевоенное  
время. Коляша, вскормленный детдомовскими да военными, пусть и скудными, но  
дармовыми харчами, не знал и не понимал, что такое голодная жизнь, чиркнул себя  
ребром ладони во горлу, заорал, что во как надоела ему эта клятая Хохляндия, что  
устал он от нее и готов ехать хоть к черту на рога.

На рога они не поехали, двинули в Молотовскую область, в Красновишерск,  
лесопромышленный городок, где жила овдовевшая в войну мать Женяры, Анна  
Меркуловна Белоусова.

Часть вторая

ДОРОГА С ФРОНТА

Не хвались отъездом, хвались приездом, – говорится в народе, и совершенно  
справедливо говорится, по отношению к Коляше и Женяре совсем уж точно говорится.

Просидев на станции двое суток, припив с ребятами-корешами прощальную самогонку,  
поубавив наполовину дорожную пайку, встретив очередной поезд, на этот раз с  
табличкой «Одесса – Киев», и поняв, что и в этот поезд, облепленный со всех  
сторон муравейником военных пассажиров, им не попасть, решили они прибегнуть к  
испытанной «военной находчивости». Под бравую песню: «В бой за Родину, в бой за  
Сталина, боевая честь нам дорога...» – высадила братва чемоданом окно в вагонном  
туалете, слава Богу, как оказалось, неработающему, и Коляша залез в выбитое окно,  
выбрал из рамы остро торчавшие осколки стекла, принял на руки молодую жену,  
опустил ее на пол и приказал не высовываться. Уже на ходу поезда ребята сбросали  
в окно манатки: чемодан в фиолетовом чехольчике, баульчик с постелью и синий  
объемистый рюкзак, в котором была пара белья, запасные портянки, два кило луку и  
ведро яблок, насыпанных на дорогу сердобольной хозяйкой.

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
Ребята дошли до стрелок, бежали за поездом по путям, махали, кричали, двое калек, лечившихся с Коляшей в госпитале, утирали глаза, и сердечный бас их, слившись воедино с паровозным гудком, долго еще гнался вослед:  
«Про-о-о-оща-айте-е, дру-у-у-а-а-а...»

Слезы на лице Коляша обнаружил не сразу, вытер было рукавом, но они опять потекли, и он уже не вытирал их, плакал и плакал, не зная, о чем и почему. Плакала и Женяра, припав головой ко вздрагивающей деревянной раме. Коляша подумал, что в раме остались мелкие стекла, она может порезаться, повернул ее к себе, прижал лицом к груди. Теперь они плакали вместе, а вместе – не врозь, скоро не уймешься.

Обессиленные, опустошенные слезами, сидели молодые супруги возле грустно поникшего унитаза, на связанной девчоночьей постельке и нехитрых пожитках. Казенную-то постельку Коляше пришлось сидеть.

Угодили они в вагон со старорежимным туалетом, который по величине, пожалуй, превосходил кухню в иной советской квартире. Женяра мелко покашливала – везла она с войны, из пыльной почтовой кладовки, болезнь бронхов. Коляша подумал: хорошо было бы чем-то окно завесить, но ничего под рукой нет, да и заметно сделается. Слушая стук колес под полом, звяк шатающегося в дыре унитаза, отчужденно молчали, и горесть ли разлуки с армией, с друзьями, молодостью, оставленной на войне, предчувствия ли будущей нелегкой жизни, все это так подавило их, что не хотели они ни говорить, ни шевелиться.

На исходе дня, далеко уж от станции отправления Коляша встряхнулся и нажал пальцем на распухший от слез кончик носа молодой супруги, и она ему признательно улыбнулась.

Коляша Хахалин человек какой – он не может вот так сидеть долго, бездействовать, слушать песню впавшего в инвалидное состояние унитаза. Он выбрал из пазов рамы гвозди, остальные стекла, высунулся в окно нужника, предусмотрительно сняв пилотку и засунув ее за пояс. Холодеющим к вечеру ветром трепало все еще недлинные Коляшины волосья, освежало его тело и душу.

За окнами мелькали села, хаты по одной, а где и кучкой, сколь их ни били, ни молотили, они сбегали с бугорков к рельсам. У иной хаты и крыши нет, и стена уцелела всего лишь одна или только угол, но подзатянуло за годы войны жильё зеленью, обволокло бурьяном, присыпало листом. Уже развелись и бродят подле него куры, индюк нахохленно поднял голову, смотрит на поезд, грозно подергивая шейю, колебая всеми мясистыми, красными или красно-фиолетовыми гребнями и бородами: «Не лезь, клюну!». Хрюшка лежит в тени под стеной, баба, повернувшись к поезду объемистым задом и заголившись почти до чернильницы-непроливайки, роет картоху или месит глину; дед в картузе времен еще турецкой войны, опершись на бадог, смотрит на летящие куда-то вагоны, вспоминает, быть может, как сам когда-то возвращался с войны; силосная башня вдаль, похожая на неразорвавшийся многодюймовый снаряд; водокачка, что граната эргэдэ, стоящая на ручке; тракторок и волю в полях, вывернувшие землю черным исподом кверху; убранная, прореженная, истрепанная ветром, истоптанная скотом пегая кукуруза – неперемный украинский знак, подсолнушек с примороженными ушами, там и сам припоздало сияющий, обманувший в заветрии первый заморозок, уловивший тепло бабьего лета.

Какая близкая сердцу, малознакомая сторона, которую в разглядеть-то из-за боев, дыма, занятости, передвижения большей частью ночами не удалось; память, затененная провальным сном на дне окопа, на клочке соломы в сарае, на обломке доски середь болота, на еловых лапах или под деревом, или просто с кулаком под щекою, на случайной, стылой или, наоборот, на каленой до ожогов печке, соскочишь с нее, бывало, испеченный от угара и духоты, своих не узнаешь; под раkitой придорожной, под телеграфным столбом, возле камня, случалось, и могильного, возле подбитого танка, сгоревшей машины, обязательно

прислонясь головой к чему-то, в земле иль на земле утвержденному.

Однажды ночью спали солдаты под сосной, и спятился на них «студебеккер». Хорошо, мох под деревом вековой – вдавило ноги в мягкое. Пеклевану Тихонову под ноги корешок угодил – недели две с палкой ходил-ковылял, в госпиталь не отпустили – как воевать без такого работяги. Первый раз в жизни пофилонил, вкусил безделья Пеклеван, хитрить потом стал, от работы отлынивать...

Война, война!.. Бежит она, клятая, следом, не отставая, подступает к окну то битыми вагонами, то опрокинутым паровозом, то горелым деревом на холме, то воронкой, то в вопросительный знак загнутым рельсом, то табунком могил возле линии, кое-где уже с заржавелыми плоскими немецкими касками на неошкуренных крестах...

Почти свечерело, когда одышливо пыхтящий, нервно ревуший у каждого столба и знака паровозишко припер состав на в прах разбитую станцию и в изнеможении утих, пустив пары изо всех дыр. Железнодорожные строения, в отдалении заплаты воскресающих хат, среди которых молодцом выглядел нужник из свежего теса.

Черный паровоз в черных заплатах напоминал косача, уделанного в сражении, на току, опустившего крылья, и только красное надбровье – плакат с портретом вождя на лбу – свидетельствовало о его все еще кипящем котле и скрытой внутри мощи. Часть народу, разбирая на ходу штаны, подымая подола, хлынула от поезда в пристанционные развалины. Другая же часть, уже более разрозненно, – к гордо выпятившемуся нужнику, но он не мог вместить разом истомленных, жаждущих облегчения пассажиров. Многочисленные обремененные узлами, тюками, ведрами, мешками, чемоданами люди с криками, плачем, ахами и охами ринулись к поезду. Люди падали, спотыкались, что-то роняли на ходу и, на ходу же подбирая, стучались в вагоны, вопили, кляли все и всех на свете, мужики материли баб, бабы материли мужиков, все вместе материли железнодорожников, умоляли кого-то, указывая на ребятишек, на бинты и медали. Местами, для убедительности, пошли в ход уже и костыли.

Знакомая, почти на каждой станции повторяемая картина, на которую хоть одним бы глазом взглянуть тем, кто призвал, стронул людей с места и бросил их на произвол судьбы. Но они, те высокие люди, все праздновали Победу и опохмелялись, опохмелялись и праздновали. В голове у них был радостный трезвон кремлевских курантов. Им никакого дела не было ни до детских, душу раздирающих голосов, ни до людей, потерявших все ориентиры жизни, себя не помнящих и обреченных. Они не видели копошившихся там, внизу, измаянных людей, не слышали и желания видеть и слышать их не испытывали.

– Маты ридна! Маты ридна! – несколько раз уже взад и вперед мимо разбитого окна, по проломленному дощатому перрону, под которым пестрели стесанной корой сосновые стояки, с широко открытым ртом пробежала здоровенная баба со здоровенным холщовым мешком на спине. Военный ношенный бушлат на ней расстегнут, под вышитой нестиранной кофтой катались туда-сюда гарбузами пудовыми груди. Из-под цветастого распущенного платка выбились, спутались, падали женщине на лицо пышные волосы, глаза, и без того навывкате, вовсе вытарачились, алый перекошенный рот исторгал мольбу или заклинание.

Коляша не обратил на эту растрепанную, заполонную бабу внимания – на каждой станции бегало, толклось, паниковало таких вот бестолковых баб тысячи. Но за этой бабой, подшибленно и покорно, провиснув на костылях, с трудом волочился солдат в мешковатой госпитальной шинели, цветом и формой скорее похожей на мужицкий армяк, в новых обмотках, в новой пилотке без звезды. Он остановился против Коляшиного вагона, всей своей воробыиной тяжестью обвиснув на костылях, сгорбтив шинель, обессиленно опустил голову так низко, что пилотка свалилась с его стриженной, будто у малого дитяти, лункой на темечке выболевшей головы. Подскочив к нему, баба подняла пилотку, водворила ее на место и громко, с полной уже безнадежностью и отчаянием зашлепала толстыми, мокрыми губами, спелость которых не могла погасить никакая гнетущая сила:

– Та вин же ж ранэный! Вин же ж с госпиталю!.. Вин же ж вмэрти може... Нам до дому трэба... – собирая во фразы слова, разбиваемые рыданиями, объяснялась баба в пространство. – Мыкола! Мыкола! Мыколочку, встань пэрэд поездом на колени... Помоли народ...

– Нэ могу я на колени. Нэ гнутся у мэнэ ноги... – не поднимая головы, с упрямой бесстрастностью отозвался Мыкола.

Баба уже не бегала, не рвалась никуда. Зажав мешок меж колен, она выла без слов, без всякого выражения, просто выла в бездушную и безответную пустоту. На крапивном мешке было ярко выведено: «Од. Смыганюк». Повидал виды этот уемистый мешок, поездил по поездом и вокзалам да на базары.

– Одарка! – тихо, но внятно позвал Коляша. Баба испуганно заозиралась по сторонам.

– Одарка! – повторил солдат.

Баба попалась настолько бестолковая или так уж отупела от дорожной сутолоки, что ничего понять не могла, думала, блазнится – голос ей кто-то с неба подает.

– А? Що? Хто цэ?

– Да я, я! – махнул Коляша рукой бабе, – подойди сюда, не бойся.

Она неуверенно и опасливо приблизилась.

– Давай сюда мешок!

– Ой! – испугалась баба и, покрепче ухватив мешок, отступила от вагона.

Коляша скосил глаз – паровоз набрал воды, заправился углем и, уже бодро соря искрами, клубил свежим черным дымом за стрелкой, готовый шлепнуться буферами в буфера, соединиться с составом и попереть поезд ко все еще далекому Киеву.

– Микола! Николай! Тезка! – позвал Коляша громче и, когда инвалид поднял голову, вытянул обе руки. – Давай сюда!

Познавший фронтовое братство, инвалид ни минуты не медля, не раздумывая, куда и зачем его зовут, приблизился к окну. Коляша забрал у него костыли, перевалил через раму окошка его почти невесомую, вроде как куриную тушку, толкнул себе за спину, на унитаз. За окном начала паниковать баба:

– Мыкола! Ты куда? А я куда, Мыколочку, а бандиты? Ой, що будэ? Що будэ?

Микола даже не глядел в ее сторону, он отдыхался на унитазах, по привычке, еще госпитальной, догадался Коляша, потирая соединенные вместе раненые колени.

– Да шевелись ты, бочка с говном! – рявкнул Коляша и, вырвав из крепких рук бабы мешок, кинул его себе за спину, чуть не сшибив Миколу с унитаза. В мешке что-то звякнуло.

– О-о-ой, мамочку! – не пролезая в окно, причитала баба. – О-ой, горилочка моя-а!

Уцепив бабу обеими руками, Коляша, будто пушечный пыж, втащил ее в дуло окна и брякнул на пол. Подол на Одарке задрался, обнажив множество таких достоинств, которых хватило бы если не на роту, измотанную сраженьями, то уж на геройское отделение артрязведки младшего сержанта Каблукова всенепременно хватило бы.

– Ряту-у-уйте! – завела басом баба, все еще барахтаясь на полу.

– Ты чего орешь, Одарка?

– Ты звидкеля мое имья знаешь? – задуманным голосом парализованно распластавшаяся на полу спросила баба.

– Я все про тебя знаю. Даже фамилию. Смыганюк твоя фамилия.

– О-о-ой! – снова начала взывать Одарка. У нее застучали зубы. – Ты ж нэ з нашэго сэла! – но востроглазая, ходовая и бойкая баба тут же и заметила покачивающуюся в уголке туалета молодую женщину в военном и разом вспрянула духом. – Тю-у, жинца! Мыкола! Мыкола! Нэ бойся, Мыкола! – и разом перешла на заискивающий тон. – Тут жинца, тут хлопэць! Воны худого нам нэ зроблят...

В это время паровоз брякнул буферами в буфера, по поезду прокатилось содроганье, состав покатился назад, но тут же произошло обратное движение, и не разорвавший сцепок, сам себя с места стронувший состав, облепленный народом, покатился со стоянки. Одарку, успевшую приподняться, шатнуло в одну, в другую сторону, она рухнула на унитаз, на лету ухватив Миколу, но не уронила его под себя, знала,

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevictor.ru](http://astafevictor.ru)  
что тогда конец мужику, а ловко шмякнула его себе на живот.

– Пой-ихалы! – не веря своему счастью, прошептала Одарка, преодолевая неверие, с восторгом повторила: – Поихалы! У поезду! Слышь, Мыкола? У поезду! О, Мыколочку... Ой ты коханий мий! – запричитала она и принялась целовать своего мужа, да все смачней, смачней, и увлеклась было этим занятием, но Коляша громко кашлянул. – А дэ це мы? – очухалась Одарка и стала оглядываться вокруг.

– В сортире!

На мгновение смолкши, Одарка испуганным голосом спросила:

– А нас нэ высадють, хлопэць?

– Не должны. Я изнутри закрылся.

– А тоди х.. з им! Мэни хучь у говенной бочке, тики шоб до дому скорийше довэзти мужа.

– Одарка, просю тэбэ, нэ ругайся! – первый раз после посадки подал голос отдышавшийся Микола.

– Усе, Мыколочку! – затараторила Одарка. – Усе, мий коханий! Усе-усе! Мовчу, як та бидна цыпулька... Гэ-гэ-гэ! – обрадовалась она сравнению себя с цыпушкой и захохотала так, что наверху зазвякало железо. Но тут же спохватилась и зашипнула рот концом платка. – Ой, зовсим забула... Мовчу-мовчу!

Однако Одарка была так взвинчена, возбуждена, что унять ее было никак не возможно, ее распирало, разрывало радостью, и она тарахтела под звук уже набравших скорость колес.

– О, цэ людына! Цэ истинный патриот! Советский! Може сочувствовать своему брату! А то ж кругом одни хвашисты, блядь!..

– Одарка!

– Мовчу, Мыколочку! Мовчу, коханэнький мий! М-мых! – опять громко, со вкусом припечатала она мужу поцелуй. Деваться Миколе некуда – прижат к стене. – Видят же ж на костылях чоловік, медали кругом у йего, так нет же ж... А, курва товстожопая! А чего ж я сыдю? – спохватилась вдруг Одарка и начала добывать из-под себя мешок. – Мыколочку мий нэ питый, нэ етый... Ой, ой, опять!.. – похлопала она себя ладонью по рту. – А я сыдю! А я сыдю!..

Поправив унитаз, она откуда-то добыла картонку, прикрыла его зев, закинула картонку хусткой – платком – и на это сооружение выложила снедь: сало, яйца, огурцы, полувытекшие помидоры, в середку с пристуком водворила чехол из-под немецкого противогаса, который, как оказалось, был лишь маскировкой – в середине его утаена многогранная, ко дну сужающаяся бутылка. Тряхнув ею, Одарка возгласила:

– Нэ разбылась, ридна моя! – она поцеловала бутылку, попутно чмокнула своего Мыколочку: – Тоби трэба трохи выпить и закусить. Я тэж трахну, шоб дома нэ журылысь! М-мых! – снова она вlepила поцелуй Миколе. – Подвыгайся до цэго стола, ишь, кушай, сэрдэнько мое!..

– Одарка! – высунувшись на едва уже сереющий свет, инвалид кивнул в сторону молодоженов.

– Ось! Ось! – подхватила Одарка. – А добрый хлопчику! А мила жинця. Просимо ласково поснидаты з намы. Ну шо, шо на тым стулу? Шо, шо у уборной! Я ж усэ накрыла, усэ вытерла...

Женяра помотала головой и укуталась в шинель. Коляша, чтоб не обидеть людей, подвинулся к «столу», иочти уже в потемках звякнули кружками старые солдаты.

– Твое здоровье, тезка!

– Тоби того ж, брат!



И пока тянули солдаты самогонку, Одарка снова расчувствовалась:

– А, ридны вы мои! Видны вояки! А шоб та проклята война бивш ныколы нэ приходыла... – и налив себе – слышал по бульку Коляша – не менее полкружки, – выпила, утерлась, сгребла обоих солдат в беремя, поцеловала поочередно и, аппетитно чавкая, начала есть в полной уже темноте.

Лишь бледная ночь неба и набирающего силу холода проникали в выбитое окно. Женя робко прижалась к теплому боку мужа, он обнял ее, нащупал руку, всунул в нее кусочек хлеба с салом, мятый, мокрый помидор, обрадовался, услышав, что Женя начала есть.

Одарка на ощупь налила по второй, но мужики уже согрелись, заговорили, отказываясь от выпивки, да разве с Одаркой совладаешь?! Она, словно танк, тараном берет. Найдя рукой Коляшину кружку, Микола прислонил к ней свою кружку, подержал и, слабея голосом, молвил:

– Будэмо жить, солдат! Будэмо жить. Так хочется жить...

И сжалось все внутри Коляши, стеснилось и зануло: Микола чувствует – недолгий он жилец на этом свете.

– Обязательно! – нарочито бодрясь, воскликнул Коляша. – Сто лет. Нет, сто не надо. Изнеможешь за сто лет от такой жизни, себе и людям в тягость сделаешься... Будем жить, сколько отпущено там, – показал солдат на дребезжащий под потолком электропузырь без лампочки. Кто-то шевельнулся рядом с ним, робко коснулся губами его щеки. «Челове-эк! – умилился Коляша, – все понимает, все чувствует. Челове-э-эк!»

А через унитаз тянулась, грабастала Коляшу совсем уж размягченная Одарка:

– Та хлопэць ты гарный! Та умнэсэнкый! Да звидкэля ты взявсь? – и вlepила Коляше поцелуй, на этот раз в губы  
.Мыколу тоже вниманием не обошла, хотя тот и вжимался за унитаз от ее натиска.

Прибравшись на «столе», определив мешок за спину, подстелив что-то на холодный пол, все еще источающий запах мочи, Одарка улеглась на бок, чтоб меньше занимать места в узком заунитазном пространстве, притулила к себе мужа своего, подтыкала что-то под него, костылями оградила от холодного и шаткого унитаза, прикрыла его своим платком и, лежа на локте, держа себя грузную почти на весу, чтоб только чоловику было удобно, принялась байкать его, как маленького, совсем и не осознавая этого материнского действия. Могучее и доброе сердце Одарки расслабилось, тело согрелось и успокоилось, она вдруг всхрипнула, пока еще пробным раскатом, но и от него, от пробного, все железо в туалете вздрогнуло, бельмо пузыря на потолке сорвалось с петли и опасно закачалось над головами пассажиров. Одарка тоже вздрогнула, очнулась, ощупала Мыколу со спины, с боков, голову его удобней устроила.

– Хлопче! А, хлопче! – шепотом позвала она.

– Чего тебе, Одарка?

– А як ты все же мои имья и хвамиль узнал, га?

– Хэ, фамилия! Хэ, имя! Могу тебе всю твою биографию рассказать.

– Ой! – испугалась сраженная Одарка. – Нэ трэба, хлопэць, нэ трэба... – и долго не подавала никаких признаков жизни. Потом, совсем уж безнадежно, совсем уж отрешенно не то спросила, не то утвердила: – Хлопче, ты колдун?!

– Да еще какой! Я ж из Сибири!

– Из Собиру! – почти обреченно молвила Одарка. – Тоди понятно. Там дуже холодно и вэдмэди кругом бродють...

– И колдуны, – подтвердил Коляша. – Им запросто про человека все узнать, приворожить, створожить, немочь накликать, со свету свести... Хочешь, скажу, об

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
чем ты сейчас думаешь?

– Ой, нэ надо, нэ надо, хлопче. Дуже я пуглива... А об чем? А об чем?

Женяра тряслась рядом, запокашливала чаще, дергала Коляшу за рукав шинели, хватит, мол, хватит.

– Та вин жэ ж! Та вин жэ ж... – продирался сквозь смех Микола. – Да вин же ж дурака валяет. Вин же ж хвамиль твою и имья на мешку узрив! О-ой, нэ могу! О-о-ой, нэ могу! Яка ты, Одарка, глупа была, така и осталась. Она у школи, – уже обращаясь к молодоженам, пояснял Микола, – усэ у мэнэ списувала, так сим групп и закинчила...

– А-аж, його мать! – из деликатности осадив матюк, с восхищением громко хлопала себя по ляжкам Одарка. – О цэ уха-арь! О цэ да-а! Шо ты, жинца, будэшь робыть з им? Як жить з таким пройдохою?..

– Мучиться, – первый раз за всю дорогу подала голос Женяра. И не знала, не ведала она, сколь пророческое слово молвила невзначай.

– Тикай вид его! Тикай з вагону, тикай з поизду, у поле, куда подальше тикай! Й-иэх, який, а? Як пидманув, га?! – Одарка в потемках нашла голову Коляши и больно потеребила за вихор, но тут же и погладила со всепрощающим вздохом. – Нэ! Нэ тикай! Бог его тоби опрэдэлив – тэрпи, процюй хоть за двоих, хоть на соби ташшы до гробу... Вот у мэнэ Мыколочку мий, який слабэсэнський, болизный, но я, шоб кинуты йего, ни-ни, ни божечки мий... М-мыш! – опять начала целовать Мыколу сама себя умилившая Одарка.

– Та будэ, будэ, – ласково остепенял жену муж. – Трохи подрэмлемо. Устал я, и людныны ж усталы. Добрэ, шо сортир нэ дуже вонький и ништо нэ мешае. На передовой та у госпиталях хуже бывало.

– Спы, мий Мыколочку, спы, коханий...

Они умолкли, прижавшись друг к другу. Одарка не сотрясала храпом вагон, как ожидал Коляша, думая, что вагон и с колес сойдет от такой рокочущей силы. Видимо, Мыкола уснул, и она, баюкая болезного, боялась его потревожить, не позволяла себе забыться, заснуть.

Холодная осенняя ночь хлесталась волнами в зев окна. Горстка звезд и половина луны гнались следом за поездом, на поворотах заслоняло, гасило небесные светила, и снова возникали они неожиданно, вроде бы с другой стороны, и снова гнались за орущим паровозом, за стучащими вагонами. «Может, это были другие звезды, другая луна? – пришло в полусон Коляше. – Но почему же? Звезд-то на небе много, а луна всего одна...» Коляша услышал, как плотнее и плотнее жметя к нему спутница его, расстегнул шинель, пустил ее ближе к своему теплу, и она, невеликая, уместилась в уютном его гнезде. «Милая. Родная! Как хорошо, что мы вместе, едем вот куда-то, несет нас поезд в будущую жизнь, в неизвестность. Я постараюсь быть тебе нужным и верным другом, – почти стихами говорил сам с собой Коляша. – У меня было много друзей, потому что я все без остатка отдавал людям, ничего, никогда не таил: ни хлеба, ни души, ни веселой природы своей... Случалось, через силу веселился, хотел поддержать друзей. И они не дали мне умереть, вынесли, переправили на другой берег с Днепровского плацдарма, а ведь там даже с легкими ранениями умирали. Спи, родная, грейся, дыши. Тебе, однако, попался в спутники не самый лучший, но, поди-ка, и не самый худой человек...»

Проснулся Коляша от беспокойства, возни за унитазом, сдавленного шепота.

– Та, Одарку... та нэ можно. Люди ж...

– Мыколочку! Мыколочку! Я никому... ни божечки мий!.. Бильш тэрпиты нэма сил... Мыколочку!..

– Одар... Одар!..

Одарка затыкала рот мужа рукою, грызла, терзала его, пыталась притиснуть к себе, в уголке за громыхающим унитазом:

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

– А-а, голубонька! А, коханий мий!.. Н-нэ мжу бильш... нэ мо-о-жу! – стонала она. – Н-ну ж, ну ж! Сувай! Сувай!.. Я сама... я сама... Аж! Аж! Укуси мэнэ! Укуси! А-э... сладэсэный мий!..

Микола из последних сил отбивался от наседающей, обезумевшей бабы, выполз на середину туалета. И хотя туалет старого вагона просторен, инвалид лягал коляшу негнущейся ногой в его тоже негнущуюся ногу. Коляша загоразивал всем, чем мог, Женяру, чтоб не увидела она этой ошеломляющей схватки.

– Выдчипысь! – прорычала Одарка, и Микола отлетел к двери туалета, ударился, затих.

За унитазом возилась, гребла взнятыми вверх ляжками, белеющими во тьме, по-звериному хрипела, вроде бы грызла какое-то дерево женщина. Унитаз набатно гремел, звенел пузырь на потолке, звякал о железо... Туалет, вагон, мир содрогался от мук женщины, истязавшей самое себя. Громко прорыдав, скуля по-песью, женщина начала ослабевать. Какое-то время еще подбрасывало, дергало в конвульсиях ее могучее тело. Но вот унялось, распласталось и оно, ноги, обутые в солдатские ботинки последнего размера, опали, вытянулись, унималось хрипящее дыхание. С мучительным, сонным стоном женщина пробуждалась от обморочной страсти, проясняясь сознанием. Затаившись во тьме, долго-долго не шевелилась, не подавала признаков жизни.

Поезд все стучал и стучал колесами, скрипел вагон, бился и бился об пол унитаза, никак не проваливаясь в дыру, колпак фонаря под потолком, готовый вот-вот оторваться, лязгал. Коляша плотнее прижал к себе Женяру, уверяя себя в том, что она ничего не слышала. Женяра шевельнулась, прошептала: «Что это, Коля? Ой, как страшно-то...»

Не вылезая из-за унитаза, Одарка помацала вокруг, нашарила костыли, притянула их к себе, начала прибирать одежду, зачесала гребенкой волосы, повязалась платком, еще посидела, прислонившись к шаткой стене.

– Микола! – наконец, искаженно позвала Одарка. – Ты, можэ, попыты хочеш?

– Ни.

Опять молчание. Опять единый звук поезда, опять за окном огоньки и свет бесконечного мироздания.

– А може, яблочка?

– Ни.

– З глузду зыхала баба... Ат, дура! А-ат, дура! У-у, курва-блядь!.. – Слышно было, как Одарка несколько раз завезла себя кулачищем по башке. – Микола, а Микола! Иды до мэнэ! Я бильш нэ буду. Иды, а...

Куда деваться солдату-инвалиду? Зашевелился, пополз под крыло своей бабы, и она укрыла его, прижала к себе, принялась раскачивать и похлопывать.

– Ничого, ничого... дома, у садочку посыдышь, виддохнешь, яечкив, сальца поишь, лекарствив добрых здобудэмо. Я дни и ноченьки буду процювать, с пид зэмли усэ для тэбэ здобуду... Любый ты мий!.. Мы ше диток нарожаемо... Усэ у нас будэ, як у добрых людын, усэ будэ. Главно, шоб той вийны проклятой бильш нэ було... Ну, спы, спы, сонэчко ты мое ясно...

На рассвете, зябко ежась, Коляша высаживал Одарку с Миколой на станции Чудново, от которой до родного села им еще предстояло добираться пятнадцать или двадцать верст. Но они уже были считай что дома. Одарка задом наперед, подпирая раму, протискалась в окно, приняла сперва костыли, потом и мужа на руки. Подавая Одарке мешок, почти не убавившийся в весе и объеме, Коляша, наклонившись к уху попутчицы, прочастнл:

– «Ой, Одарка, вражья сила, зараз в слезы, гомонить, так злякае чоловика, шоо нэ знав вин, що робыть...»

Бесовская баба

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
,малость отоспавшаяся, снова полная сил и бодрости, подморгнула Коляше припухлым глазом:

– Нэ буду, нэ буду лякаты чоловика, – и еще раз подморгнула: – Аж цылу нидилю...

Супруги Smyганюк стояли рядом, смотрели на Коляшу радушно и благодарно, в один голос приглашали заезжать, если случится быть на Житомирщине. Микола что-то шепнул жене на ухо, та всплеснула руками, охнула, полезла в мешок, извлекла оттуда бутылку, кус сала и полбулочки мятого хлеба. Это добро она совала Коляше в руки, он отбивался, отталкивал подношения.

– Визмыть, будь ласка! Ну, визмыть!..

– Визмы, брату! – подал голос Микола. – Путь твой ще долгый, время голодно. Визмы! Цэ ж солдат солдату...

Ни Коляша, ни Микола не подозревали тогда, как пригодится и выручит молодоженов та фигуристая, буржуйская еще бутылка.

Одарка и Микола медленно взнимались по дороге, ведущей за серый, пустынный холм. На холме остановились, обернулись. Одарка вскинула над головой кулачище, киношный ли «рот-фронт» изобразила, но, скорее, уверенность дала, мол, жить будэмо.

Прошло еще сколько-то времени. Иней засверкал в полях и на встречных вагонах. Солнце доцветаящим подсолнушком выкатилось на небо. На припеках запарило, в тени домов, будок и деревьев все так же холодно и уверенно искрил иней, и какие-то уж вовсе припоздальные листья совсем сморенно, неприкаянно, возникнув вроде бы из ниоткуда, пролетали вдоль окна, пробовали лечь на землю по-за поездом, но их еще тащило за вагоном, еще вертело, кружило и разбрасывало по сторонам ворохами и подиночке.

– Вот так и нас волочит, кружит, – вздохнул Коляша.

– Пора и нам на волю из этого уютного помещения, – подала, наконец, голос Женяра, не делая, однако, никаких движений из обогретого уголка и не открывая глаз, но громче прежнего покашливая.

Коляша откинул защелку, попробовал открыть дверь туалета. Дверь уперлась в народ, стоящий, сидящий на полу, спиной навалившись на дверь «вечно занятого» туалета. Люди оживились, расступились сколько могли, чтоб выпустить пленников на волю и тут же втиснулись в обогретый туалет с неотложной надобностью. Скоро унитаз лежал на боку, громко брякая, народ делал свои дела в разверстую прорубь, на вертящиеся в неустанном беге, блестящие колеса. Жгут мочи, смывая испражнения, лился до тех пор, пока проводники, в отдельном вагоне меняющие одесскую самогонку да тираспольское вино на тряпки, сало и хлеб, не были на какой-то станции отысканы осматривателями вагонов.

Появилось хмурое начальство. Нашумев на проводников, на пьяного начальника поезда, заставило их хоть немножко приглядывать за вагонами, руководить пассажирским населением. Проводники – мужик, опухший от пьянства, и остервенелая баба с разбитым фонарем – с упорной настойчивостью искали тех, кто выбил стекло в туалете, открыл его и наделал им столько беспокойства. Поиски ни к чему не привели. Проводники с досады начали проверять билеты, наводить порядок, посбрасывали на пол какие-то узлы, мертвецы пьяных пассажиров. С десятков едущих зайцами личностей выдворили вон, кого-то сдали комендантскому патрулю, кого-то куда-то переместили согласно документам и билетам. В результате краткой, бурной деятельности железнодорожников молодожены Хахалины оказались в середине вагона. Женяра даже прилепилась одной ягодицей на нижнюю полку, вступила в контакт с ближними бабенками, которые в конце концов стеснили себя так, что и вторая невыразительная ягодица оказалась при месте.

Коляша и еще несколько мужиков солдатского ранга стояли, бросив локти на средние полки, и дремали в таком вот положении, потому что с того момента, когда, соскучившись по человеческому обществу, супруги покинули уютный туалет, в чем Коляша давно уже раскаялся, и достигли полки, прошло почти полсутков, наступила еще одна ночь, все люди должны были отдыхать.

Нога с раскрошенным коленом, не раз оперированная, долгого стояния не

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
выдерживала, ноге ходить, двигаться нужно, а стоять на ней невыносимо – ломило все кости, таз, спину. Колено раскалялось, и горячая струна стягивалась, резала ногу пополам, наступало онемение конечности, тупая боль взяла в горсть сердце, стиснула его. И хотя Коляша перемещал тяжесть тела на левую, целую ногу – быть дальше в таком положении становилось невозможно, он чувствовал, что вот-вот упадет, провалится в гущу людей, в ноги, в узлы, в чемоданы, ведра, сумки... все тогда загремит, люди всполошатся, подумают, что мужик этот пьяный или припадошный.

Катили уже двое суток, но до Киева все далеко. Как же доехать до Урала? Как достичь обетованно русской земли и выдюжить? Там не было войны, и поезда поди-ка ходчее идут, не останавливаются у каждого столба, не переживают какие-то спец, экстр, особого назначения составы, не сбавляют скорость то там, то сям до пяти километров в час, потому как путь «сшит на живульку» еще во время наступления наших войск на запад, пока еще не дошли до него руки. Трусливо дрожа, ржаво скоргоча железом, поезд подкрадывался к мостам, которые держались на чем-то, чаще всего на деревянных клетках, скрепленных скобами, зыбко покачивались, прогибались под тяжестью состава рельсы над бездной, поезд готов был рассыпаться вместе с мостом и рухнуть с сонным народом в холодные воды какого-нибудь Псела, который и на карте-то не на всякой обозначен.

Но как же радостно, как же бодро, словно жеребенчишко, вырвавшийся на волю из тесной конюшни, кричал паровоз, миновавший никому не известный мостишко через никому не известную речушку, дергал он тогда, тряс людей в вагонах: слышите, мол, слышите?! Движемся! Прем вперед, может, когда-нибудь, куда-нибудь да доедем!.. Де-э-э-э, ребята-а-а-а! Не-э-э-э плоша-ай!

Коляша в полуобмороке застонал. Женяра потянула его за рукав бушлата на свое место. Меж ведер, в узлы, в свалку вещей, ног, туловищ засунулся Коляша и не сразу услышал свою остамелую ногу, пошевелил пальцами и почувствовал, как мелко-мелко все в нем дрожит от перетруды сердца, как само оно уравнивается, входит в берега, снимая жар с тела, раскаленного от перенапряжения.

Бывают же счастливые, благодные минуты в жизни!

Так, меняясь местом, молодожены дожили до утра. Коляша сообразил опрокинуть вверх дном чем-то наполненное ведро, сел на него и, положив голову жене на колени, малость поспал. Взяв в перекрестья рук голову и спину Коляши, Женяра оберегала его от толчков и маленько грела руками, все еще шершавыми от мытья соленой водой и керосином.

Проснулся Коляша от бесцеремонно наглого, пересохшего голоса:

– Эй, маршал, в рот те паровоз! Спишь, а скоро станция. Я щас ссал в окошко и семафор концом зацепил!.. Го-го-го!

Остряк захохотал первым. Он лежал на второй полке. Выше него, на третьей полке ютился «маршал» – плюгавый сержант с налепленными на погоны и петлицы значками, эмблемками и блескучими нашлепками. Спустившись к своему корешу, он попросил дам отвернуться и довольно ловко, привычно, видать, справил малую нужду в окошко.

– Ваша правда, мой генерал, скоро станция! – подтвердил он. – Готовьтесь опохмеляться.

И в самом деле поезд скоро сжало тормозными колодками, дернуло, осадило, он начал сбавлять ход.

Население «купе» было разнородно. Притиснутая к окошку, спала и всю ночь всхлипывала во сне молоденькая, белобрысая девчонка. Против нее с ребенком у груди, широко открыв рот, спала женщина средних лет. Сторожко к ней приникнув, то и дело вскидывалась, что-то поправляла на бабе и на ребенке, подремывала чуткая, еще крепкая телом старуха. Подле старушки и женщины ютилось трое ребятишек школьного возраста, дальше – одетый в бензином воняющий ватник, глыбой навалившись на стену, ни разу не пошевелившись, грохотал всеми частями, винтами и гайками, сам, как догадывался Коляша, хозяин семейства. Два железнодорожника, очевидно, возвращавшиеся домой с восстановительных работ, братски обнявшись, посапывали возле девушки. Меж ними и Женярой, уронив руки, ноги, отсисив нижнюю губу, растрепанную косу, спала еще одна женщина, некрасиво расшеперив колени, в

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
которых котенком лежал в комок скатавшийся фартук. Что-то зашевелилось на  
противоположной средней полке, в воздухе, соря крошками сохлой грязи, закачалась  
деревяшка с криво стертым железным наконечником. Народ просыпался, зевал,  
чесался. «Мой генерал» – блатняк, как определил коляша по выговору, – где-то  
прошивавшийся войну, возвращался куда-то и зачем-то, балагурил, гоготал,  
чувствуя себя самым главным победителем на земле. Девушка возле окна тоже  
проснулась, вытерла тыльной стороной ладони губы, подобрала волосы, надвинула на  
глаза уголок серенькой косынки и отвернулась, прислонившись лбом к стеклу.

– Ну, че? – свесившись с полки, приставал к ней исколотый по груди, по рукам,  
«исписанный» по морде бритвой «маршал». – Че снилось-то? Кавалер? Жених? Щупал,  
небось, стишки на ухо шептал? «Напрасны ваши совершенства, их вовсе не достоин  
я». И выходит, что? Выходит, что создан он для блаженства? Езданул чемоданчик и  
лататы! Гага-га-а! А ты и жопу расквасила... щастье так близко, так возможно...

– Отстань от человека! Отстань! – сказала пожилая женщина, остерегавшая  
семейство. – Ей и без того тошнее тошного... И дети тут. Оне от немцев сраму  
навидались и наслушались, самолучшего, привозного... Тихона разбужу – он тя  
скоренько уймет! Вылетишь в окно, што воробей!

– Да я... Да...

– Тихо, маршал, тихо! Спертая паровая и половая сила перед тобой. Гляди на детей  
и учитывай свои возможности...

– Бабуль, а, бабуль, скоко твоему-то?

– Скоко-скоко? Зачем тебе? Ну, тридцать восемь Тихону.

– И уже четверо?

– Не четверо, а пятеро. Один в вакуацию с пионерлагерем попал. И где он счас,  
родимой? Найдем ли? – засморкалась женщина, – да двоих малюток еще схоронили под  
немцем...

– Во-от эт-то да-а-а! Во-от эт-то рабо-о-отник!

– И работник! И заботник! Не вам, прощельгам, чета! Опора державе, надежа  
народу.

Тем временем поезд остановился на какой-то дымной и мрачной станции. К нему со  
всех сторон, будто на приступ, ринулись торговки и опять забегали вдоль поезда,  
от окна к окну, закричали, забренчали котелками пассажиры.

«Маршал» и «мой генерал», опустив в котелке деньги за окно, подняли в обмен  
лепешку, сорящую отрубями, вареную горячую картоху, огурцы, помидоры, полную  
пилотку груш и яблок.

– Во дерут, с-суки! Во дерут! Пользуются, что с вагона выйтить нельзя... – лаялся  
«маршал», а «мой генерал» в это время рядился: – Не-э, не-э. Ты сперва дай  
попробовать. Не-э, так не пойдет! Нам уж продали разок водичку! Больше не  
наякорите! Давай-давай!

В аптечном, грязном пузырьке, подобранном, должно быть, под ногами, подана  
«проба». Ее понюхали, лизнули по очереди «маршал» и «мой генерал»,  
инвалиду-соседу, видать, старому специалисту по напиткам, дали лизнуть.

– Да вроде бы ниче, не особо разбавлена.

– За двести, барыга! Даю двести.

– Ни-и, – раздалось из-за окна. – За двести покупай у другом мести! В нас дровы  
дороже...

– Да вы ж уголь тырите!

– За вуголя стреляють.

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
– Н-ну, падла! Ну двести с половиной! Ну триста, падла! Нету больше! Ну... С кого дерешь-то? С фронтовиков-страдальцев, а? Ну, ни стыда, ни совести! А ну, кореш, высунь ногу в окно! Да не ту, не ту! Деревянную! Во, с кого ты дерешь! Во кого ты, вонючка, терзаешь своей спикуляцией...

Бутылка, прихваченная грязным бинтом за горло, взметнулась на деревяшке вверх. «Маршал» поймал ее, будто рыбину, прижал к груди: «Оп-ппа-а-а!» – и, погладив трепетной ладонью, поцеловал в доньшко.

– М-мух, родимая! М-мух, погубительница рода человеческого! – и заблажил с подтрясом: «А без денех жи-ысь плах-хая, не годицца н-никуда-ы-ы-ы!..»

..Жизнь в купе шла своим чередом, точнее, не шла, ехала. Люди встряхивались, приводили себя в порядок. Наверху пили, веселились, внизу деловитая женщина, намочив из бутылки тряпицу, обтерла лица ребятишек, свое лицо тоже утерла, из той же бутылки маленько попила. Девушка за столиком все так же притиснуто лицом к стеклу сидела, не двигалась, смотрела вдаль. Женщина потянула ее за рукав, подала бутылку. Девушка, неумело отпив из горлышка, выдохнула: «Спасибо!». Питухи сверху предлагали ей тяпнуть, протягивали кружку. Девушка никак на это не откликнулась. Мать Тихона меж делом поведала молодоженам историю, приключившуюся в пути с девушкой.

В то время люди, в общем-то, не женились, сходились, как Коляша с Женярой. Бывали, и нередко, случаи, когда мужики, а то и проходимки-бабы «подженивались». Истосковавшиеся где-то в трудармиях, на путях, в казармах, в спецподразделениях девчонки, молодухи и вдовы, подхваченные всеобщим возбуждением, сжигаемые долго сдерживаемыми страстями, попавши в скопища людей, сходу, с лету соединялись с кавалерами, пылко падали на грудь избраннику, и не раз этикие вот союзы кончались несчастьем. Мошенник-кавалер уносил с собой хранимое, нехитрое девичье имущество.

Вот и эта младая спутница лишилась осчастливившего ее кавалера – ушел, смылся в ночь возлюбленный и чемоданишко прихватил. А она по мобилизации работала на восстановлении путей, ломала наравне с трудармейцами, кое-что заработала, скопила, выменяла на тяжелую рабочую пайку, ехала домой с небогатым, зато своим имуществом.

– Ладно еще, – говорила старая женщина, – в теснотище, в многолюдстве не добрался ушкуйник до главной девичьей ценности. Имущество – дело наживное, но если у девушки пломба сорвата, – тут уж дело непоправимое.

Велись и долго будут хитроумно вестись подсчеты потерь в хозяйстве, назовут миллиарды убытков, невосполнимый урон в людях, но никто никогда не сможет подсчитать, сколько дерьма привалило на кровавых волнах войны, сколько нарывов на теле общества выязвила она, сколько блуду и заразы пробудилось в душах людских, сколько сраму прилипло к военным сапогам и занесено будет в довольно стойко целомудрие свое хранящую нацию.

Пока Коляша предавался глубоким, современным мыслям, троица наверху опохмелилась, начала картежную битву. Валек – так звали «моего генерала» – играл с теми, кто ехал на крыше вагона, посредник меж играющими, инвалид на деревяшке, сноровисто переправлял вверх карты с «ходом» в котелке, привязанном к изношенным обмоткам, принимал подачу обратно. То и дело слышалось: «Туфта!», «Шнекарь!», «Понтит, псина, понтит!», «Эй, на халупе!..» Валек, вылезши в окно, ухватившись рукой за козырек водоотвода, лаялся с кем-то из верхних игроков. «Маршал» и инвалид держали его за ноги.

– Я тя спущу с хавиры и приколю к опшэстvenному нужнику финкарем, если будешь туфтить. Веди игру честно!..

На полувосстановленном мосту с низко провисшими, негабаритными перекрытиями народ на крышах пал влежку. Слух пронесся: несколько человек все-таки снесло под колеса, тех, кто был привязан к трубам вентиляторов иль по пьянке забылся, – разможило.

Слухов по густонаселенному, давно и тесно живущему поезду ходило не меньше, чем по переселенческим баракам где-нибудь в таежном поселке, и прорицателей было полно, и певцов, и нищих, и воря, и торговцев разными товарами, в том числе и

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
фотками, переснятыми с поганных немецких открыток. Игроки напояли снимков  
целую горсть, перебирали, комментировали:

– Н-ну, с-сэка, че делат, а?! Наши так не умеют! Уж на что у меня маруха на  
Екибастузе была, на все дыры мастерица! Да куда ей до заграницы!

– Подучатся!

– Гли, гли, как он ей!.. Н-ну, падла, не могу. Терпенье мое лопається!.. Эй, ты,  
невеста без места! – навис Валек с полки, тыча снимок девушке в нос. – Гли,  
учись!.. Как переймешь опыт, лезь сюды! Ну, че ты? Че ты рыло воротишь? Денег  
дам, накормлю..

На том самом, полуаварийном, негабаритном мосту оторвало котелок с картами, и  
он, брякнув о переплеты, кружился в воздухе, пока не шлепнулся в воду.

– Полтыщи за колоду карт! – заорал Валек голосом Карла Великого, сверзившегося  
во время боя с седла с криком: «Полцарства за коня!» – Ну, тыщу!..

В это время в вагон вошел отряд военных, проверяющих документы. Старший из них,  
видимо, был уже наслышан о вольнице в этом вагоне, да и Тихон, глава семейства,  
не подававший вроде бы и признаков жизни при приближении патрулей вытащил пачку  
документов, стянутую красной резинкой, и, указывая наверх, сказал:

– Вы не нас, вы их вон, шпану эту, как следует проверьте да этапом куда следует  
отправьте. В общественном месте им, паскудникам, быть не полагается.

Когда «моего генерала» и «маршала» повели из вагона, а присмирившему инвалиду  
погрозили пальцем, Валек прошипел: «Финарь по тебе тоскует!» – рогаткой пальцев  
хотел ткнуть в глаза Тихону, но тот неожиданно проворно перехватил его руку и  
крутанул так, что в блатяге что-то хрустнуло, он осел на пол, уронив ведро.  
Тихон подержал его мордой к полу.

– Попадись мне – ноги из жопы выдерну!

На полках разместили ребятишек и жену Тихона. Постелив шинеленки, сунув узел с  
манатками в голову, супруги Хахалины легли на нижнюю полку и попеременно спали  
до самого Киева, куда прибыли глухой ночью, и там, конечно, никто никого не  
ждал.

Киевский вокзал чудом не рухнул до основания – в нем сохранился нижний этаж, и,  
сидючи пока на улице, в закутке, возле стенки, впритирку к военным, Коляша  
услышал еще одну чудную притчу, которых в те годы возникало и ходило тьма.  
Вокзал этот, якобы, был строен по французскому проекту. Но нашим, российским  
строителям фундамент, крепления, перекрытия и прочее показалось весьма и весьма  
хлипким. Они увеличили мощность главных узлов вдвое или даже втрое. Немцы ж  
народ шибко грамотный. Он, немец, и убивает, и разрушает все по науке. Так вот,  
немцы заложили в киевский вокзал взрывчатку с расчетом на французский проект,  
рванули германской взрывчаткой, и по германскому разумению вокзал должен был  
разрушиться. Но проект-то французский, динамит немецкий, да вокзал-то наш,  
российский, и хрен возьми – обвалившуюся на него тяжесть первый этаж удержал, и  
народу достался весь обширный нижний зал вокзала, к которому было уже кое-что  
пристроено, примазано, прилеплено. На втором этаже начались восстановительные  
работы.

Как часто немецкий порядок, сталкиваясь с беспорядком советским, терпел  
сокрушительное поражение! Если б фюрер и его сподручные учли, с каким невиданным  
бардаком они столкнутся, может, поняли бы, что заранее обречены, глядишь, и  
войну не начинали бы..

На киевском вокзале и в окрестностях его скопилось более тридцати тысяч одних  
только военных пассажиров. Чтобы получить по продталонам паек – булку хлеба и  
две селедки – надо было стоять за ними не менее трех суток. Уехать пассажирским  
поездом из Киева практически было невозможно. Помочь могли только сила, наглость  
и взятка – ничем этим Коляша с Женярой не располагали.

Утром, когда ожил, зашебутился народ, Коляша понял, что одну, очень большую  
оплошность он уже сделал – надо было ночью сходить в уборную, непременно велеть



Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
сходить туда и Женяре. Коляша простоял в очереди к заветному очку более часа. Из уборной в воронкой продавленный бетонный пол вспененным потоком хлестала моча, неся в бойких струях окурки, плевки, бумажки, тряпочки.

Поток мужиков раздвоился, и второе, более шустрое крыло взяло направление в женский туалет. Оттуда тоже скоро вылился вялый, но с каждой минутой мощи набирающий ручей. Воронка средь вокзала переполнилась. Из нее устремился ручей к порогу, через порог, через перрон, на пути.

Бабенки танцевали и ныли возле своего туалета, зывали к мужицкой совести. Да куда там?! На ходу водворяя на место добро, деловито застегивая ширинки, иные военные еще и пошучивали, один зло бросил на ходу:

– Обоссали офицерские блиндажи на войне, подмочили крепкие наши тылы, теперь приучайтесь в штаны!

– Ах так! Вы еще и глумиться! – закричала мужеподобная женщина-майор, с танками на погонах и, выхватив из кобуры пистолет «ТТ», казавшийся огромным и нелепым в ее неожиданно красивой руке, половину обоймы высадила в потолок.

– Ря-а-ату-уйте! – заорали наверху.

Произошло смятение, спрашивали, кто кого убил. Мужики шарахнулись от женского туалета. Крикнув: «За мной!» – майорша с обнаженным пистолетом вошла под низкие своды сортира, загазованного что вредный химический цех, и оттуда в панике сыпанули brave вояки, иные со штанами в беремя.

– Быстро, пока мужики не очухались от потрясения, рви! – скомандовал Коляша. Женяра юркнула в женский табун.

Только на вторые сутки молодые супруги втиснулись в тесноту вокзала. «Держи деньги в темноте, а девку в тесноте!» – усмехнулся Коляша. Молодая супружница Хахалина почти не ела, не пила. На улице ночью шибко они промерзли, – раскашлялась она, жалась к Коляше, пытаясь согреться. «Не заболела ли?» – испугался Коляша. Внезапно его осенило: есть и пить Женяра старается меньше и потому, что продукты кончаются, и еще чтоб реже ходить в туалет.

На вокзале и вокруг него царило пьянство, воровство, разухабистость богатеньких военных, едущих из-за границы, и полное уныние таких, как супруги Хахалины, а было их тут большинство. Комендатура лаялась, гоняла людей с места на место, особенно сверху, где шли работы, и чтоб не обрушилось чего вниз, на людей; без конца проверялись документы. Расспросить, узнать что-либо и где-либо было делом бесполезным. Железнодорожные служащие прятались от военных, в военных же службах только надсадно орали и грозились. Тех, кто решался идти на власть грудью, скручивали, уводили под арест.

Действовала тысячелетиями отработанная беспроегршная военная система: ты всем обязан, тебе – никто и ничем.

По вокзалу и его окрестностям катились слухи, и самый из них упорный: будут формироваться спецэшелоны из теплушек – до Урала, Сибири и Дальнего Востока, чтоб разгрузить от людского месива западные вокзалы, станции и дороги. Будто бы один такой эшелон уже ушел – до Саратова или на Москву. Но пока что по киевским путям безостановочно неслись эшелоны из-за рубежа с демобилизованным народом, не останавливаясь по той простой причине, что беспризорный военный люд брал в осаду эти воезда. Поговаривали, будто поездные бригады и локомотивы меняются и заправляются в Дарнице, за Днепром. Может, туда отъехать? Но как? На чем?

Колебания и сомнения коляши ахнулись после совсем уж безобразной сцены, случившейся на вокзале средь бела дня. Любви тут завязывались и происходили без конца и на виду у всех. Ночью парочки разбредались по ближним развалинам, прятались и дружили там. Темный и суровый ликом офицер в окопной, псиной провонявшей шинеленке мял, мял под этой боевой шинелью податливую бабенку и вдруг повалил ее на пол, разорвал на ней исподнее, начал каком-то жутком порыве растерзывать женщину при всем густом народе. Хохот, свист, возмущение, ропот, шуточки, команды со всех сторон. Кто-то из самых веселых парней начал детскую считалочку. Бабенка не вывертывалась из-под мужика, только выставляла, закрыв глаза обеими руками: «Господи, прости! Господи, прости!..»

Прибежал патруль. «Прекратить безобразие!» – закричал старший патрульный с портупеей через плечо. Офицер никак не реагировал на его клич. И тогда, взвизгнув и затопав ногами, багровый от стыда и возмущения, патрульный цапнул сладострастника за сапог, а тот, оскалившись, выхватил пистолет. Хватило работника ненадолго. Он упал лицом на захарканный пол, оттолкнул бабенку и, полежав какое-то время, застегнулся, протянул патрульному пистолет, указывая кивком головы на женщину:

– Ее не троньте... пожалуйста! – и пошел впереди патрульных.

Бабенка, подбирая на себе рвань, ползком-ползком к своему узлу да и на улицу и где-то уж за вагонами, на путях пронзительно закричала. Думая, что она бросилась под поезд, Коляша вместе с любопытной толпой вышел на пути. Там шла обычная маневровая работа, все было спокойно. Понаблюдав за работой маневровой бригады, дождавшись, когда паровоз остановится, Коляша угостил составителя поездов табачком, подготовленным специально на этот случай, поговорил с бригадиром о том, о сем и спросил, нет ли у них пути на Дарницу. Бригадир ответил, что сейчас вот всю подборку порожняка бригада делает на Дарницу, возможно, даже своей маневрушкой и поволокет туда сцепку, паровозу пора заправляться.

– Люди! Машинист! Механик! Увезите в Дарницу! Пропадем мы тут с моей бабенкой.

– А ты думаешь, в Дарнице легче?

– Пусть на тридцать верст будет ближе к дому, – пошутил Коляша. – У меня салишка кусок есть, самогонки немного...

– Ну, что с тобой делать, брат-кондрат? – молвил со вздохом машинист. – Поедете в тендере. Из угля голов не высовывайте! Не один ты такой догадливый. На мосту постовые съмают вашего брата, мне нагорит.

Женяру уж ничем было не удивить, не испугать, тем более паровозным тендером. Как мышка-норушка, зарылась она в уголь. Коляша рядом примостился. Тронулись! Поехали!

Залязгало, загрохало над ними и за ними. Сверху искры летят, да все горячие. Душит супругов густым смоляным дымом – сырой, паршивый уголь на маневрушки дают. На мосту, не совсем еще восстановленном, тендеришко разболтало, разбайкало что люльку ребячью, того и гляди – вывалятся молодые люди в Днепр-реку, а в ней вода глубокая, холодная – Коляша изведаль позапрошлой осенью и сейчас невольно ужасался, съежился в себе. Зато дым отнесло вниз, под колеса, закручивало его в узлы, по реке растягивало, над водой волокно.

Моргнуть глазом не успели молодожены – вот и Дарница! Выгружайся, народ! А как выгрузились супруги Хахалины, глянули друг на друга – винтом пошли, Женяра в одну сторону, Коляша в другую – так их устряпало за короткую дорогу, что и не узнавали они друг друга. Крепкие белые зубы молодой жены сделались еще белее, но смех ее перешел в хриплый, долго не унимающийся кашель. Подались к водокачке – отмыться, водички попить, поесть маленько и осмотреться, провести рекогносцировку, – как говаривали братья-артиллеристы.

Со временем Коляша прочтет и узнает, что они с молодой женой в точности повторили путь романтических влюбленных – лейтенанта Шмидта и Зинаиды Ризберг, только пламенный революционер и утонченная, книг начитавшаяся курсистка проделали путь от Киева до Дарницы в полупустом мягком вагоне, на красным бархатом обитых диванах, а освободители мира от фашизма, спасители отечества, приумножившие и без того громкую славу родных вождей и полководцев, – на грязном, водой от пыли облитом угле.

В Дарнице было чуть полегче и почему-то потеплее. Молодожены просто не заметили, что помягчало в природе, – первые холода пробно прошли по земле и по народу, упредительно пощупав их за слабо, по-дорожному легко прикрытые тела, сделав разведку боем по лесам и полям, по царству зверей и людей, холод приник к земле, обратился в мокро, начал парить и гноить то, что удалось сшибить с деревьев, с колосьев, с зевастых подсолнухов и цветов. Чернела прель под зимним солнцем. Чернели поля и леса по-за станцией, но ярко, празднично светилось то, чего холод не достал, не убил, не скрючил, не уронил. Молодожены, навалившись друг на

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
дружку плечами, сидели в привокзальном скверике, подремывая на солнышке. Тут на них и налетел суровый работник комендатуры станции Дарница, приказал показать документы. Пока начальник внимательно рассматривал бумаги, Коляша рассматривал его. Хоть и молод лейтенант, но навоевался досыта, ордена и нашивки о ранениях виднеются за бортами распахнутой офицерской шинели, губу покривило контузией. Чем-то он очень сильно напоминал командира взвода управления артиллерийского дивизиона Пфайфера. Недолго тот воевал, не успела война научить его осторожности, воспитатели уже приучали парня к бесстрашию, к жертвенности во имя идей светлого будущего. Был он из образованной семьи, его представления о доблести, о мужестве и славе были почерпнуты из книг, из бесед школьных пионервожатых и тыловых комиссаров, потому и спешил он отдать жизнь свою и отдал скоренько, не намучившись в окопах.

И вот лейтенант, очень похожий на Пфайфера, – Коляша чуть не спросил его фамилию, – сменил суровость на милость, расспросил супругов Хахалиных, каким путем и зачем попали они в Дарницу, шевельнул кривой загогулиной плохо пробритого рта:

– Муж с женой. Это другое дело. А то милуются тут по кустам всякие... – Он уже пошел, но обернулся: – Я буду иметь вас в виду.

– В виду. Иметь, – начал заводиться супруг Хахалин, но молодая жена резко дернула его за рукав, остепеняя. Ой, сколько раз ей придется повторять этот жест, сдерживающий горячность мужа. Сколько пролить слез, научая его степенности в речах, остерегая от губительных действий, да все ее усилия по перевоспитанию мужа или хотя бы пробуждению степенности и благоразумия – особого успеха не имели.

Прошла еще одна ночь.

Утром у солдат с проходящего эшелона Коляша купил булку хлеба по сходной цене и в то же утро под воздействием воспоминаний о фронтовом братстве, о светлом образе офицера Пфайфера и лейтенанта из винницкой комендатуры совершил он еще одну, весьма поучительную ошибку. Увидев, что к воинскому эшелону прицеплено три зеленых вагона с кремовыми занавесочками и возле них прогуливается чистенький, излучающий приветливость генерал-майор с круглой попкой, с брюшком кругленьким, с подбородочком репкой, луночкой украшенным, все, все, особенно детский носик, располагало если не к вольности, то уж к приветливости всенепременно. Сплетя на груди руки меж лапами расстегнутого мундира, накинутаго на плечи, генерал прогуливался вдоль состава, дышал свежим воздухом. Мирная ли осень, земля ли в последнем увядании и багрянце, облик ли праздно прогуливающегося генерала и подвинули фронтовика к не совсем продуманному действию. Коляша подзаправился, подобрался и заступил дорогу генералу, который, слышалось солдату, тихо и прониновенно произносил: «Роняет лес багряный свой убор...»

– Здравия желаю, товарищ генерал! – бодро заявил Коляша, прикладывая пальцы к пилотке. Вспомнил вдруг, что везде и всюду в армии повторяют поучительную заповедь: «К пустой голове руку не прикладывают», – и тут же понял, что сделал он глупость, неизвестно к какому счету в жизни, уже и за дорогу эту немало их сотворил, но отступить было поздно. Коляша залепетал о том, что он, бывший фронтовик, ранен, едут вот с женой, тоже фронтовичкой, на Урал, деньги и продукты на исходе, так нельзя ли им, пусть бы хоть в тамбуре или в коридоре...

Взгляд генерала медленно пробуждался, он еще не видел, не различал солдата перед собою, да и не слышал, он все еще глядел сквозь человека на багряный осенний лес и, шевеля губами, шел дальше, сквозь время, сквозь свет, сквозь солдата, так и не поняв, кто это перед ним мельтешит и издает какие-то звуки. Никогда, нигде, никто не смел заступать ему дорогу, тем более – беспокоить просьбами. Глас земной, солдатский так и не достиг его сознания, не потревожил вельможный слух.

– Извините! – жалко молвил во след генералу Коляша, да еще чуть и не поклонился. «Э-э-эх, Колька-свист, разудала твоя голова! Размундяй ты, размундяй! Учит тебя жизнь, учит, да все никак не научит...»

Генерал подхватил спавший с плеча мундир и, огрев Коляшу не просто негодующим, но испепеляющим взглядом, молодцевато вспрыгнул на подножку вагона. Сырым плевком лепил солдат Хахалин на междупутье и вновь осознал давно известную истину: чем выше чин, тем убийственнее от него происходит унижение, и потому

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
впредь не лезь вверх ни с какими просьбами, не нарушай той границы, которая  
пролегла меж верхним и нижним эшелонам.

– Эй ты! А ну отойди на х... от вагона! – на подножке генеральского вагона,  
чего-то дожевывая, повис молоденький солдат, свеженький лицом, с еще только  
начинающимися усами, с комсомольским значком на гимнастерке.

– Это ты мне?

– Тебе, тебе! Кому ж еще? Шляется тут всякая поебень...

– Спустишь на землю. Я плохо слышу после контузии.

Солдат, чего-то ворча, прыгнул с подножки, и пока он нехотя, надменно  
надвигался, Коляша поднял с междупутья скошенную, вроде арабской сабельки  
загнутую тормозную колодку – одного удара ею достанет, чтоб отучить этого  
молокососа навеки не только лаять на людей, но и жевать генеральские объедки.

– А ну, повторяй за мной: «Дяденька боец! Я прошу вас, отойдите, пожалуйста, от  
генеральского вагона».

– Да я...

– Расколю башку. Пока твои бздилоходы тебя хватятся, ты вонять уж будешь! Н-ну!  
Ну! Как тебя учили в пионерском лагере? Как учат в комсомольской организации?

– Дяденька боец... я прошу вас...

Не дослушав молодого холуя, вымучивающего вежливые слова, Коляша брезгливо  
отбросил мазутом облитую колодку и сказал, хлопая его по плечу:

– Держись за свое место! Псом дворовым будешь, зато глотать жирные кости  
станешь, спать в конуре, под крышей, на сухой подстилке. Не то что некоторые...

Около вокзала, съездившись, засунув руки в рукава, покашливая, поджидала своего  
супруга посиневшая от вдруг потянувшего с Днепра холодного ветра, сиротливая  
женщина. «И зачем мне все это? – сокрушался Коляша, – вокзалы, холуи, бардак  
этот вселенский? Куда я еду? Куда меня влечет? Зачем? Семей, видите ли,  
обзавелся, пристяжку спроворил! Добирал бы остатки урожая в украинском совхозе  
„Победа“, дрова воровал бы, яблони тряс по садам, напившись самогонки, ходил бы  
с мужиками плакать на братскую могилу по великим праздникам...

Среди ночи супругов Хахалиных, прижавшихся за нетопленной печкой дарницкого  
вокзала, отыскал запаленно дышащий сержант и приказал, чтоб они скорее, с  
манатками – к лейтенанту.

– Ну, вояки! – пошевелил где-то возле уха концом рта лейтенант. – Ваша  
скромность и смирение вознаграждены! Не надоедали мне и всем добрым людям, и за  
это вот он, – указал лейтенант на заулыбавшегося сержанта, – посадит вас,  
незаконно, в незаконный вагон, и вы, может быть, незаконно доедете до Москвы.

Оказалось, что все эшелоны с войсками, идущие из-за рубежа, имеют вагоны  
прикрытия – два четырехосных вагона, в которых можно было бы уместить две сотни  
демобилизованных душ. Вагоны, стоящие между паровозом и эшелонам – на случай  
аварии или диверсии в пути, – должны «прикрыть», амортизировать весь остальной  
состав, словом, смертники-вагоны. В общем-то, это то же самое, что загородить  
собой товарища комиссара от пули врага или закрыть грудью амбразуру. То есть  
никакого в этом здравого смысла не было. Загородить грудью, в особенности  
женской, хоть кого и хоть чего можно только в кино, но загораживать груженные  
вагоны пустыми вагонами – это даже для кино, пусть и самого патриотического, не  
годилось, потому что при экстренном торможении груженные вагоны, нажав на  
негруженные, просто выдавили бы их наверх, как пустые, хрупкие спичечные коробки.

Строго-настрога наказав молодежкам, чтоб в вагон они влезали без шума и  
никогда, никуда, ни под каким видом больше не вылазили, «даже если будут оружием  
пужать», ну и не выдавали бы его и товарища лейтенанта, сержант посадил женяру  
и хромого ее мужа в вагон.

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

– Счастливо-о! Эх, и мне бы скорее домой! Я бы хоть на чем...

Женяра с Коляшей думали, что в вагоне поедут одни, и боялись этого – полное ж бесправие, любой бандит под видом патруля пришьет и фамилию не спросит. По напряжению, которое передалось Коляше, он чувствовал, что спутница его боится тьмы и дороги, нащупал ее рукой, приободрил.

– Да закройте вы двери! Кто там? Высадят всех к херам! – раздался голос в темноте, и слабый, угольно светящийся фонарик, пометавшись по темному пространству, к радости супругов, обнаруживших, что вагон полон спящего народа, указал им в дальний угол вагона и даже подержал там пляшущее пятнышко света. Коляша захлестнул притвор вагона и осторожно пробрался к жене – она что-то подстелила, какую-то тряпицу на хрустящее на полу стекло, шлак, угольную крошку, поймав мужа за руку, потянула вниз и, когда он прилег головой на рюкзачишко, уютно подлезла к нему под бочок.

– Я так рада, что мы едем!

– Погоди еще, не говори «гоп»... Не нагрянул бы патруль.

Женушка угнездилась у Коляши под боком и уснула, греет чуть слышным теплом и даже во сне осторожным дыханием. «И чего это я психанул-то? Она-то при чем, если кругом такое творится! У нас ведь уж если бардак, то обязательно грандиозный, если урожай – то стопудовый, если армия, то самая непобедимая!.. Допобеждались вот. Да и сам ведь вспоминал, как на фронте спать ложились обязательно головой к чему-то, солдат к солдату жался, а женщина, одна на таком ветру, в такое дикое время, само собой, норовит к кому-то прильнуть, заслониться...»

– Поехали, механик, поехали! – раздалось за вагоном. – Сто четвертый поджимает.

– Поехали так поехали...

Коляша с удовольствием еще послушал переключку помощника машиниста с машинистом: «На выходе зеленый». – «Вижу на выходе зеленый...» – и уснул под «зеленый», потому как не спал ладом уж несколько суток.

И когда раздалась грозная команда: «А ну, выходи из вагона! Кому сказано?» – и увидел наставленные с улицы два черных автоматных дула, не сразу понял, где он, что с ним, и не вдруг опустился обратно на священную советскую землю, охраняемую самыми справедливыми строгими законами.

– Опять началось! – запричитал рядом с Коляшей пожилой, давно не бритый солдат. – Че вы нас на каждой станции гоняете, че нервируете? Мы вам пленные, чо ли? Враги, чо ли? Мы домой едем!..

– А ну прекрати трепаться! – гаркнул старший патруля, младший лейтенантишко, и запрыгнул в вагон, сверкнув до блеска начищенными хромовыми сапогами. – Сейчас же! Сейчас же очистить вагон!

Никто в вагоне не сделал никакого движения.

– Я кому сказал?! – младший лейтенант по-грязному обматерился. Был он в нарядном картузе, в диагональном обмундировании, перетянутый в талии, со значками, портупеей, весь вычищенный, выглаженный, праздничный.

– И не стыдно твоей сытой роже? – покачал головой все тот же пожилой солдат. – Ты посмотри, на кого орешь! Над кем изгаляешься!

Младший лейтенант осмотрел вагон внимательней. Коляша, приподнявшись, тоже осмотрел население вагона. Были здесь, в основном, военные и, в основном, битые-перебитые. Были и гражданские. Но женщина всего одна – Женяра.

– Не положено! – стараясь удержаться в повелительном, начальственном тоне, снова начал младший лейтенант. – Вагоны должны следовать порожняком. Это опасно для жизни...

– Для чьей?

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

– Для вашей, разумеется.

– Ну, о наших жизнях не беспокойся. Мы такое повидали, что не дай тебе бог во сне увидеть.

– И все-таки мне придется очистить вагон.

– Это кто так думат? – наступал солдат-сосед.

– Я!

– Ну, твое «я» ишо галифо твое не прожгло, токо оттопырило.

– Вы у меня запомните станцию Бахмач! Запомните! Сейчас патрули откроют огонь.

– По нам?

– По вам!

– Вали! Стреляй! Фашист немецкий не добил, дак свой, доморощенный...

– Это ты обо мне? – побледнел младший лейтенант. – Я – фашист доморощенный?!

– Ты, ты! Вызрел! – не унимался пожилой солдат.

– Я тебе покажу – фашист! Я тебе покажу! Огонь! – скомандовал младший лейтенант своим подручным. И те, зажмурившись, дали очередь вверх.

Эко напугал! Ты слыхал – нет, молокосос, пословицу: не стращай девку мудям, она весь видала! Прошу, дамочка, прошшэнья! – поклонился вежливо солдат в сторону совсем зажавшейся в угол женяры.

На выстрелы примчался начальник эшелона, тоже с патрулями, ладный такой капитан, при орденах. И когда, брызгая слюной, содрогаясь, негодуя, сбиваясь с пятого на десятое, младший лейтенант объяснил ему обстановку, вывизгивая: «Приказ наркома! Неподчинение! Арест! Три-бунал!..», – капитан вскочил в вагон, любопытствуя, осмотрел присмирившее его население, покачал головой и, ободряюще на ходу улыбнувшись, спрыгнул на мазутную землю.

– Нам они не мешают, – заявил он распетушившемуся командиришке и, одернув на нем вылезавшую из-за пояса гимнастерку, добавил: – Ну и че они тебе? Едут люди

и пусть едут. Может, пересадишь их в пассажирские вагоны?

– Это не моя компетенция.

– Во, какая грамотная гнида! – снова начал заводиться Коляшин сосед.

– Я тебя арестую! – заявил младший лейтенант.

– Попробуй!

Капитан увел своих хорошо подданных орлов, но на помощь младшему лейтенанту прибыл еще один отряд. Человек уже шесть с автоматами вертелось возле вагона, требовало, чтоб если не все, то непокорный бунтовщик шел из вагона и встал под конвой, иначе будет хуже, иначе они задержат эшелон и нагорит всем, в том числе и безответственно себя ведущему начальнику эшелона. Кто-то со стоном попросил в вагоне:

– Да выйди ты, отец, выйди. Либо помолчи. Высадят ведь, суки, всех. Это ж такие крючки...

– Кто крючки? Кто суки?

– Ребята! – громко, на весь вагон обратился к народу Коляшин сосед. – Где-то тут граната валялась? Дайте мне ее. Тряхну я эту шушеру. Довоевывать так довоевывать.

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
Сосед туфтил, нагоняя на патрулей холод, понимал Коляша, откуда гранате взяться? Как вдруг с другого конца вагона поднялся высокий военный, и Коляша ахнул, узнав в нем того лейтенанта, что смял бабу на полу киевского вокзала. В руке его была зажата «лимонка», и так она была стиснута, что козонки пальцев побелели. Он решительно шел к патрулям, пляшущим пальцем пытаясь попасть в кольцо запала гранаты.

– С-сыно-ок! – бросился наперерез ему Коляшин сосед. Запнулся за кого-то, упал, ловя лейтенанта за сапоги. – Сы-но-ок! Сдамся я имя! Выйду! Пускай заарестовывают! Не надо боле крови, сынок, не надо... Я ить пошути-ы-ы-ыл...

Патрули побежали от вагона. Споткнувшись о рельсы, двое упали, уронили автоматы и не вернулись за ними, ползя под вагоны на карачках. Лейтенант резко закрыл дверь вагона. Сделалось полутемно. Постоял у щелястых дверей, уткнувшись лбом в железо, повернулся и сказал скрипучим голосом, опуская руку с гранатой в карман.

– Я тоже попугал, отец. Успокойся... Возле вагона шарились, шептались.

– Дак че делать-то?

– Не знаю. Шарахнут гранатой, имя че...

– И красавчик наш смылся куда-то!

– Галифе новое, видать, полощет у колонки...

– Да закрыть их к херам, и все! – за дверями вагона, скрипнув, звякнув, опустилась в железный паз щеколда. – Попомните станцию Бахмач!

В вагоне сперва сдержанно, затем веселее начали посмеиваться, не зная, что железнодорожный товарный вагон изнутри не отпереть, и, если долго придется ехать, – дело дрянь, считай, что в тюремном вагоне они, только в тюремном кормят, поят и до ветру выводят, здесь же хоть подохни – никто не побеспокоится.

Сосед по фамилии Сметанин, пробирающийся в родное Оренбуржье, ввел в курс дела супругов Хахалиных: народ в вагоне большей частью пролетарского происхождения. Те

, что катили из-за границы, еще кое-что имели из провизии, имущества и трофеев. Но страдальцы-госпитальники, нестроевики и пестрый люд, отторженный от армии, ее кухонь, пусть и с негустым, но все же устойчивым приварком, трудармейцы и всякие отбракованные, – эти бедовали уже давно и променяли все с себя, вплоть до нижнего бельишка. Есть в вагоне типы потаенные. Один из них, молодой парень в шелковом кашне и театральном костюме тонкого сукна, неизвестно зачем бывавший в Германии и чего там делавший, вез, например, полный чемоданчик камешков для зажигалок и намерен на них нажить капитал. Ведь если каждый камешек продать по десятке, – Сметанин постучал себя по шапке согнутым пальцем: «Во, голова!». Другой вез два чемодана масляных красок в тубиках. Сметанин по этой причине считал его художником и жалел его, блажененького. Были военные, хватавшие тряпок, барахла и потому боявшиеся выходить из вагона, оставляя без присмотра добро. Они неприязненно относились к пролетарьям, которым терять нечего, кроме военных цепей, просили что-нибудь купить на станциях или променять и за это маленько делились добытым харчем с соседями. В вагоне, слава Богу, не оказалось блатных и всяких разбитных картежников вроде «маршала» и «моего генерала». Небольшое, случайное сборище случайного люда в сухогрузном вагоне, в котором возили и зерно, и уголь, и вот поставили его прикрытием, поскольку была у вагона крепкая ходовая часть, да и пробка вагона почти новая – вагону этому работать бы, добро возить, вез же он в основном барахольщиков, скрытых, неразговорчивых, и, не будь Сметанина, Коляша с Женярой куда острее чувствовали бы свое одиночество после гомонящего военным людом набитого вокзала. Сметанин был высокий, плоский по спине и по груди мужик. На груди его с левой стороны болтались четыре медали, подстрахованные на застежках бабьими булавами, справа – два ордена Отечественной войны, «Звезда» и гвардейский значок. Питался Сметанин одними «концервами», по его определению, – конскими, хотя была это обыкновенная говядина – тушенка армейского назначения. «А жир? – возражал Сметанин. – Где жир-то? На деньшке плюнуто, лавровый листок орошен, чтоб седель-ный запах отшибить... Конь это, конь, кляча колхозная, выбракованная – мне ли не знать, как колхозный конь пахнет!..»

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
Слово «выбракованный» было самое любимое и привычное у Сметанина. На консервы, тоже, по его мнению, выбракованные, он уже и глядеть не мог. Когда Коляша с Женярой дали ему кусок хлеба, сальца, луковицу и яблоко, он чуть целоваться не полез.

– Да милые вы мои ребятишки! – пел Сметанин. – Да ешьте вы, ешьте эту выбраковану консерву, коль глянется. Да пошто глянется-то? Возьмут варено мясо, в банку затолкают, харчок сверху – и ешь! Какое это мясо? Его уж, вроде бы, ели и высрали...

В выборе выражений Сметанин себя не стеснял. Коляша понял, что у него это самый что ни на есть натуральный разговор. Спервоначала сосед еще спохватывался, приложив руку к медалям, кланялся в сторону Женяры: «Прошу прошшэнья, дамочка!», после совсем забылся, повествовал историю своих походов совершенно свободным, великим русским языком. По тому, как большую часть времени он проводил, стоя на коленях, лежа на локте, Коляша догадался, что Сметанин из пехоты, тот нисколько не удивился тому, что молодой сосед угадал род его войска.

– Из ей, из ей! Чтoб она, блядь, горела синим огнем на сырых дровах. Кабы не Чащин товарищ капитан, давно бы я землю не мучил и воздух с бракованных концервов не портил.

Сметанин был на фронте с сорок первого года и все в пехоте.

– Уцелей-ко, попробуй! – восклицал он. – И по госпиталям валялся, и под колеса танков попадал, и в землю заживо бомбами закапывало, и отступал, и голодовал, и холодовал, где-то в Белоруссии даже тифом болел и чуть в заражном изоляторе не сдох... Ну, думаю, теперь-то уж меня выбракуют и, если не домой, то хоть в какую-то, не в пехотную роту пошлют. Ведь ветром же шатат, а я пулеметчик. Где мне станок унести или хотя бы и ствол? Да без меня много желающих по тылам ошиваться, воевать подале от переднего края. Хоть верь, хоть не верь, друг мой молодой, денег скопил: шил и починал обутки командирские, ну и приворовывал, конечно, где курку украду, где гуся, где свечку, где топор, где часишки трофейные подберу, зажигалки, ручки писчие с голыми бабами. Ну, думаю, как ранют, я в тылу какому-нибудь ферту все это суну – и меня хоть ненадолго дале от бойни подоржат, хоть с полгода – отойти чтоб, укрепиться нерввами. Но все не за нас, ни вошь, ни Бог. Херакнуло так, что мешок мой с трофеями в одну сторону полетел, я – в другую! И вот знаш, парень, уставать я стал. Вижу, ты вон тоже изукрашен, и меня поймешь. Хожу, как в воду альбо в помойку опушенный: что скажут – сделаю, не скажут – не надо, шшэлку себе, солдатскую спасительницу, могу выкопать, могу не выкопать; пожрать не принесут – ничего, добывать не стану... Обессилился, обовшивел, седина по мне пошла, будто плесень по опрелому пню. Все одно, думаю, до конца мне не довоевать, маяться же я больше не могу, и, чем скорее меня кончат, тем скорее душа и тело успокоятся. Домой писать промежду прочим тоже перестал. Пусть, думаю, постепенно привыкают жена, дети к мыслям о моей потере. Ну, а в таком состоянии духа, сам знаешь, на передней линии огня долго не протянешь, там ты все время должен быть, как пружина, настороже, ушки чтоб на макушке, глаза спереди, глаза сзади, желательно, и на жопе чтоб глаза и уши были и видели и чуяли чтоб все, потому, как сам себя остерегаешь, так и сохранишься в этом аду, и чтоб не тебя фашист, а ты его убил... Ой, парень, сколько я этого фашиста положи-ы-ы-ыл! Ежели на том свете будет суд Божий, меня сразу, без допросу и без анкет, в котел со смолой. Душегу-ууб! Хожу я, значит, землю копаю, пулемет на горбу вперед на запад ташшу и чую, скоро, скоро отмаюсь. Но тама, – показал Сметанин в потолок вагона, – распоряжение насчет моей выбраковки ишло было не дадено. А вот письмо от моей бабы пришло. На имя командира части. А у нас токо-токо ротного убило, новый ротный пришел. С батальона. Капитан Чащин. Ну, новый-то он новый, да дыры на ем старые. С госпиталю он поступил. Меня к ему и вызывают. Сидит в блиндаже мужик, худю-у-у-уций, хворый на вид весь, как ворон черный. Я ишло подумал – осетин, небось, альбо чечен, А он меня на русском чистогане: «Ты што распротвою мать, от семьи спрятаться хочешь?» – «Умереть я хочу, товарищ капитан». – «Чего-чего?!» – «Умереть, говорю, хочу. Все надоело». – «А вот тебе! – заорал капитан, тыкая себя кулаком в ширинку. – Хуеньки не хочешь?» Бодрое, игровитое слово-то, навроде как детская побрякушка. Я с того момента слово это полюбил и на поправку пошел, душа в mine воскресать начала. Товарищ Чащин, он с понятием, он слово-то словом, но дело делом, коло себя меня держал, навроде как вестового и писаря. Какой из меня писарь? А сапожник и шорник хоть куды – с детства к шилу да к постегонкам приученный. Обшивал, обмывал, упочинивал, обувь тачал и командирам,



Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru) и солдатам. Ночей не спал. Когда и коней почишу, когда чего поднесу, подам, покопаю, раненых соберу. И вот под крылышком-то капитана Чашина, дай ему Бог здоровья, да под командирскими накатами очухался я, и, когда меня снова во взвод возвратили, к пулеметчикам, – голой рукой меня не возьмишь! Я уж снова весь при себе, и нюх мой от пороха и гнилых соплей прочистился. Работат!

Н-на! А ить задурел я, о-ох, задурел!.. Это коды мы Берлин взяли и загуляли все: и офицера, и рядовые, – так я уж и от памяти отстал: ночь мне, день, немец, русский, узбек, татарин – все мне собутельники! Всех я люблю! Волокут меня к Чашину, теперь уж к комбату, майору. Ты что, говорит, старый, обалдел, что ли? Так точно, обалдел, говорю, потому как жив остался и до се этому не верю. Он меня подтолкнул к окну – это мы под Берлином, в каком-то городе стояли, на берегу реки, может, моря, кажись, Ундермунде или Мундерунде – у него, у немца, рази запомнишь.

«Че ты видишь?» – спрашивает товарищ Чашин, теперь уж майор, а я уж привык – все капитан да капитан. «Дома», – говорю. «А ишшо че?» – «Ишшо, ишшо? Воду, – говорю, – вижу». – «А ишшо?» – «Боле ниче не вижу, товарищ капитан. Мне бы опохмелиться, тоды бы, может, зренья прорезалось...» – «Я тя опохмелю! Я тя опохмелю! Ты что, старая кляча, не видишь, што уж лето на дворе? Ты же с весны гуляш! Куда в тя лезет-то? Струмент сапожный потерял. Иль пропилил... К немке, к молодой, по пьянке подвалился, бесстыжая твоя рожа! У тебя ж четверо детей! Дочь невеста! Мне уж жопу чесали за твои художества! Под трибунал попадешь!.. Ты же в армии, мерин сивый! Что, что побела? Ну, погуляли все, люди как люди, а ты, как хер на блюде!..»

И опять, в такой погибельный момент приблизил меня к себе товарищ Чашин, уж майор, – велел мне подавать, но помаленьку, чтоб постепенно голова прояснялась и сердце чтоб от неупотребления сразу не остановилось, чтобы тоже в границы входило. И все, парень, опять наладилось, пошло, как надо, – молиться век мне и моей семье на товарища Чашина. Но тут нас хлесь в ашалоны, да в Молдавию и перевели. Тама от нас товарища Чашина отозвали. Кто говорит, будто в академию, кто, мол. по раненьям домой. А я думаю, в Кремль его взяли, да и не ошиблись – бо-о-о-ольшо-ого ума человек! Там такие люди нужны, чтоб с умом руководить державой и направлять ее, куда надо, а куда не надо – не направлять...

Н-на, оборвалось во мне что-то, заныло, заскулило в нутрях. И давай я опять гу-уля-ать-куралеси-ыть... Но товарищ Чашин все предусмотрел. Новый комбат меня с деревни, где мы помогали колхозникам урожай убирать да смуглянок-молдаванок в кукурузе перебирать, нажравшись синего вина, – велел на губвахту посадить. Отсиделся я, отлежался на губе, мне документы в зубы, мешок концернов, мать бы их, маленько хлеба, маленько денег – и катись вояка Сметанин домой – от греха подальше. Ну я, само собой, с ребятами загулял. Но ребята не дали мне разойтись. Место мне в этом вагоне – из Румынии эшелон-то идет, – нашли и в вагон связку одеяльев забросили, вот оне, энти одеяля, – для коней, заместо попон служили. Матерья на их плашпалатонная, ее простежили с куделей, с ватой ли сырцом и полевых артиллерийских коней грели. Мне сказали, там, в деревне, мол, сгодятся, там все разуты-раздеты, а из матерьи такой хоть штаны, хоть юбки шей. До-о-о-олго я ехал на тех одеяльях один. Прядут патруля, я сразу на себя генеральский вид напушу: «Имушество казенно охраняю, попоны для коней», – и отлипнут оне. Потом народ полез-попер, мне и радостней, и веселей, да вот только от попок энтих тыловых беспокойство. Два одеяла я уж на хлеб променял. Ишшо бы надо хлебца раздобыть. Придется тебе, парень, энтим делом заняться – я худой промышленник. У нас теперича вроде как семья. Ты уж, дамочка, не обращай внимания. Невыдержанный я на язык. Деревня-мама!..

Н-на-а, деревня! У ее и название-то Кудакталовка! И жись в ей не жись, а и не знаю, как назвать... Вот лепят в лепят: «Жись до войны была! Жись до войны!» Может, кому и была, да не нашему брату. Кудакталовка наша почти в самом степу, хлебушко родится с пятого году на шестой, картошка – моих мудей не хрушее!.. Ой, опять прошу прошенья, дамочка молодая. Вся надежа на скот, на овцу, на ямана, да на коня, да на Ивана. А ен, Иван-то, который в двадцать перьвом годе не вымер, дак в тридцать третьем годе ноги протянул. Ладно, у нас отец мозговитый, на каку-то стройку махнул, кочергой в домне шевелить обучился, и за ту кочергу ему хорошие деньги давали. Да только выпить он у нас был большой спец. Но деньжонок все же присылал, когда и с имушества чего. Я за старшего в семье. Семеро нас, и не по лавкам, а по полу да по полатам. Из семерых четверо девок. Меня скорее женить, чтоб я с дому не смылся. Всего приданого нам с

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

Грунькой: деревянная кровать с клопами возле дверей... Скрипит, курва, што твой шкилет. На полатах девки возятся, подслушивают. А еда кака? Картошки, молоко да арженина. Девки ночью на полатах ка-ак пе-орнут! – у нас с молодой полон рот битых тараканов... Послушай, солдатушко хромой, нас эти попки намертво заперли?

– Намертво!

– Н-н-на-а-а! Теперь нам не помочиться, не опростаться, не попить?

– Терпеть придется.

– Терпе-эть? Все терпеть да терпеть... Не привыкать нашему брату терпеть, ну, а ежели как терпиловка кончится? Опеть свалка? Опеть кровь?..

– Тихо, отец. Я попробую упротить осмотрщика вагонов.

– Молчу, молчу, – Сметанин в потемках звучно, сладко зевнул и уже на отходе ко сну добавил: – Эх, Кудахталовка, Кудахталовка, мать бы ее ети! Знаю, че меня ждет. В Молдавии бы остаться, коло винограду, коло молдаванок! У-ух, егоисты мы, мужики! У-ух, егоисты! Детишки-то как? Старшу замуж надо выдавать...

Всю ночь, как на грех, как на изгальство, гнало поезд, тащило в холодную, ветреную Россию, и только на рассвете случилась остановка. Но Коляша не дозволялся никого снаружи. Мочились мужики в притвор двери, по-большому терпели. Сметанин не раз уж вежливо пукнул, заглушая звук кашлем. По вагону начало все гуще разносить вонь и звуки. А поезд все бежал, бежал. И уснул Коляша на одеяле-попоне, отделенной Сметаниным. Когда проснулся, поезд все качало, все волокло. И он опять забылся. И опять проспал заправочную остановку, узловую станцию, на которой комендантские работники открыли вагон и спутники облегчились. Киевский лейтенант, с гранатой, еще и выпил, да крепко. Лицо его, серое и костлявое, осветилось загоревшимися глазами, сталистым взглядом прожигал он все, на что смотрел. Гаденьши бахмачской комендатуры по линии передали, чтоб мятежный вагон закрывали. И спутников снова заперли, снова упрятали. Пьяный лейтенант цеплялся ко всем, задира парня с красками, говорил, чтоб тот уж сейчас начинал писать трофейными красками победные картины.

– Вон тех вон, в углу, изобрази! Пока мы кровь проливали, землю носом рыли, они, голубчики, гнездышко семейное свили!..

– Ложился б ты спать, товарищ лейтенант, – подал голос Сметанин. – Выпил и ложись. Зачем людей задираешь?

– А-а, старый хрен! Слышал я, слышал, как вылизывал ты жопу своему капитану... Выжил! Сохранился!

– За что он нас-то, господи! – испуганно вздохнула Женяра, прижимаясь к Коляше. – Да сними ты бушлат. Пусть увидит твой орден, медаль солдатскую – «За отвагу», нашивки за ранения...

– Он и без того видит, что я не грибы на фронте собирал.

Лейтенант унялся, захрапел, но храпел как-то настороженно, с перерывами. Разойдется, расхрапится – и стоп! Словно вслушается во что-то вокруг и потихоньку, полегоньку опять захуркает, погружаясь глубже в тяжелый сон. Женяра, боясь лейтенанта, кашляла в шапку или в отворот Коляшиной шинели.

– Не обижайтесь вы на него, – сказал Сметанин, – где-то его крепко помололо, может, и в плену... О-ох, и погинуло же там народу, поугасало жизнью...

Ни с того, ни с сего, от полного уже безделья во тьме крошечной потянуло Коляшу позаигрывать с женой. Она смиренно, скорей даже испуганно отнеслась к этому, но вдруг рукой поймала руку мужа и с низу перенесла ее на свой лоб, с тихим стоном придавила к голове – лоб, лицо, голова у нее пылали.

«Заболела! – всполошился Коляша, – а я тут со своими забавами...»

– Простудилась? От стены холодно? Женяра молчала. Коляша ее тормошил, пытался укутать.

– Не надо. – отвела она руку мужа. – Я же двое суток не ходила на двор. Я больше не могу...

– Так че ты молчала?

– Я боялась автоматчиков... и еще... еще боюсь отстать от поезда.

– Да ты че?! Я ж какой-никакой шофер, все правила дорожные знаю. Горит красный – стоим! Зеленый зажегся – поехали. Может, загородить тебя, и ты у дверей, в притвор, а?

– Нет, я не смогу при мужчинах. Не беспокойся. Я еще потерплю. Только пока не прикасайся ко мне... Не сердись. Ну, прости, пожалуйста...

Коляша укутал жену, как мог, и ушел к двери вагона, сел так, чтоб на него сквозило из притвора, чтоб не проспять остановку.

Только на рассвете, где-то уже за Орлом, поезд выдохся, замер, и Коляша услышал похлопывание клапанов колесных букс – приближался осмотрщик вагонов. «Скорей, скорей! – торопил его коляша про себя. – Хоть бы больной вагон не попался. Расцепку начнут...» Но вот хлопнули две крышки задних колес, сейчас осмотрщик пойдет к последней – передней паре, к паровозу, посмотрит, молотком по тормозным колодкам и по башмакам, их удерживающим, постучит, потычет щупом в паклю со смазкой, если потребуется, мазуту подольет, тампон в пустую буксу вложит – в пути паклю на растопку вытаскивают, – еще разок мазутом из чайника подзаправит, высморкается, еще чернее измажет и без того уже чумазый нос, вздохнет освобожденно и подумает тоскливо: «Э-э-эх, теперь бы закурить!..» Шаги хрустят по каменной крошке, усталые неторопливые шаги – похоже, идет пожилой осмотрщик, пожилой лучше, не верхогляд, пожилой горе и нужду понимает, об девках или еще об чем таком не задумается. Как только шаги захрустели под дверями вагона, Коляша позвал в меру громко, но и не так, чтоб перепугать в задумчивость погруженного человека, – осмотрщики, замечал Коляша, все какие-то задумчивые:

– Осмотрщик вагонов, стой! Шаги замерли.

– А? че? Откуль?

Коляша представил, как напуганный мужик ворочает головой, угадывая, откуда голос, может, даже на небеса поглядит – уж не Он ли окликнул работягу.

– Послушай, осмотрщик! Вагон, против которого ты стоишь, заперли гады из комендатуры. Мы не арестанты, не бандиты, мы с войны домой едем...

Какое-то время вагон напряженно ждал, за дверьми ни движения, ни звука – осмотрщик, глаз у него острый, натренированный, смотрит: пломбы иль завертки на вагоне нету, часовые поблизости не маячат, во всех, почитай, вагонах прикрытия едет разный люд, ничего особенного; спросят: «Какая станция? Далеко ли до Москвы?», когда и закурить дадут.

По задвижке стукнуло щупом.

«О, батюшки!» – отпустило Коляшу.

Дверь с рокотом откатилась в сторону, и, приподнявшись на цыпочки, ощупал взглядом население вагона мазутом пропитанный человек.

– Дак это скоко же вы, не оправлявшись-то, едете?

Чуть не сшибив осмотрщика с ног, народ сыпанул, спрыгивая вниз. Сметанин сунул работяге заранее приготовленную консерву, Коляша – осьмушку табаку и бегом потащил жену вперед, за паровоз.

– Туда! – махнул он на вдоль ящичков автоблокировки разросшиеся, черные от копоты кусты и бурьян. – Я никого не пушу! Не бойся! Паровоз отцепляют – без паровоза никуда не уехать.

Приближалась жидкая цепь семенящих мужиков, на ходу расстегивающих штаны, на шею

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
вешающих ремень.

– Имейте совесть, мужики! В сторону, мужики, в сторону! За паровоз нельзя! – Коляша раскинул руки.

Лейтенант киевский, весь, вроде бы, из одних крупных и тоже злых костей сложенный, презрительно фыркнул обросшим ртом. Паровоз, попыхивая, увез на подножке прилепившегося с желтым флажком сцепщика. Осмотрщик сидел на сигнальном столбике, курил и с чувством личного облегчения наблюдал, как военные шуруют на вагонные колеса напряженными струями, и, хотя надо было указать на непорядок, ничего не говорил, не указывал. Коляша, угодивший в цепь рядом с лейтенантом, заметил, что Создатель обделил пятерых мужиков, творя этого человека, и, пожалуй что, лейтенанту с таким богатством терпеть без бабы труднее, чем всем другим, оттого он и не совладал с собою на киевском вокзале, вот тут и толкуй о равенстве и братстве... И еще Коляша, к которому по мере облегчения возвращался юмор, думал о том, что у мужика с такой аппаратурой и характер должен быть соответственный – большой, добрый, – иначе ж бедствие, в первую голову – женщинам...

Увидев застенчиво улыбающуюся, прибранную, где-то даже умывшуюся Женяру. Коляша переметнулся мыслью на человеческое счастье, о котором всю дорогу так хлопочет род людской и сулит его советская власть, а оно так близко, так возможно!..

– Вот спасибо! Вот спасибо! – досасывая сигарку, твердил сцепщик вагонов. – Не куря пропадем. Заправка будет, дак минут не меньше сорока простоице, можете и за кипятком сходить...

– Тебе спасибо! – помогая супружнице взобраться в вагон и поскорее спрятаться в обжитом уголке. – благодарил Коляша. – Отец, а отец! – позвал он Сметанина. – Побудь тут, я за кипятком поковыляю.

Женяра, прежде его и на шаг не отпускавшая, на этот раз не возражала, поверила, стало быть, что муж ей достался ходок: все дорожные правила знает – с таким не пропадешь! Осмотрщик вагонов смастерил крюк из толстой проволоки и показал мужикам, как изнутри, в щель либо через люк, откидывать и накидывать вагонную накладку, чем привел в неописуемый восторг Сметанина и всю остальную публику. Теперь можно ехать, не открываясь на крупных станциях, зато ночью, на полустанках, чтоб не навлекать на себя гнев и внимание надзирательной власти, можно делать все, что захочешь. Свобода!

– Да ить не все жа скурвились, спились да изворовались за войну. Поезжайте с Богом! – в ответ на благодарности молвил осмотрщик вагонов и пошел дальше исполнять свою работу.

Дальше двигались без особых приключений. Вояки, ехавшие из Румынии с вином и добром, веселились в своих вагонах, играли на гармошках и аккордеонах, перешучивались со встречными девушками и бабами-торговками, шумной толпой высыпали на станциях, провожая тех, кто доехал «до места», обнимались, кричали, иногда и качали кого-то. Словом, почти как у задумчиво-грустного Блока: «Молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели...», – только вагоны были не зеленые и синие, все одинакового цвета, и на войне российские люди были все на одной. Будь Коляша в своей артбригаде, в своем дивизионе и взводе, тоже б домой с братвою, по-человечески ехал, тоже б пел и веселился да спяну плакал. А ныне вот приходится молчать, будто чужестранцу, и оправляться ходить крадучись. Завоевал. Еще Женяра, молодая супруга, после той станции за Орлом горечи в душу добавила, шеборшилась под боком и руку мужа тщила ко лбу – легче, мол, ей сделалось, можно дальше ехать без мучений, да руку-то мужнину, еще и целовать принялась. Его аж в жар бросило: «Что ты? Что ты?» – слезы в нем закипели. Он к себе прижал Женяру, зубы до хруста стиснул и дал себе слово: всю жизнь ее жалеть и заботиться всегда о ней – женщина ж, беспомощный человек.

Ехали, ехали, с пересадками, с перегрузками, с перетрусками – от Соликамска до Красновишерска трюхали на родной Коляше и такой же хромой, какая у него была когда-то, полуторке. И пока ехали, валяясь в грязном кузове, на соломе, вынутой из торговых ящиков, Коляша явственно видел два черных трупа, катавшихся по кузову, от которых отламывались горелые кости, кожа, и понимал, что кошмарные сны, которые преследуют его еженощно, не скоро отступятся от него, память и за всю жизнь не отболит.

А между тем к концу пути Женяра, молодая его супруга, не просто покашливала, но хомкала утробным кашлем, будто в ней поршневым насос клапаном работал.

Мать Женяры, Анна Меркуловна, была еще крепкая и даже моложавая с виду женщина. Встретила она молодых супругов среди ночи неприветливо, почти сурово, прикоснувшись к щеке дочери губами, поскребла довольно выразительным носом воздух, сморщилась и ткнула пальцем в Коляшу:

– Муж, небось?

– Му-уж, – прошелестела губами Женяра.

– Бракованный какой-то. Лучше-то не досталось? – и постучала себя кулком по зевающему рту. – Лучших девчонки побойчее тебя расхватили! И кашляешь, будто колхозная кляча. Не туберкулез ли с фронта вместо трофеев привезла? Ну ладно, ложитесь на лежанку, за печь. Днем баню истоплю, тогда уж на постелю допущу.

Городок Красновишерск стоял на самом северном краю Молотовской области, да и всей России, пожалуй что. Говорили, что еще севернее есть старинные города Чердынь и Ныроб, но новожитель пермских земель Хахалин Николай Иванович не верил этому – куда уж дальше-то?

При Анне Меркуловне состоял молодой мужик из тех самых западноукраинских селян, перевоспитанием которых занимался конвойный полк. Чего-то он подсчитывал, чем-то руководил, возил в леса на лошади продукты, фураж, строительные материалы – там, в студеных горах, на глухих речках Цепел, Молмыс, Язьва – устраивались жить, валили и сплавливали лес переселенцы с Украины, и не только с Западной. Кое-что снабженец не довозил до поселков, ночной порой сваливал возы и мешки в белоусовском дворе, в пристройках. Анна Меркуловна щеголяла по дому в шелковом китайском халате с ярким павлином на спине и пичужками поменьше – на рукавах. Шубка на ней была с лисьим, но уже монгольским воротничком, на пальцах золотые перстни. Кладовка и подпол забиты продуктами, и, тем не менее, Анна Меркуловна – прямой человек – упредила дочь с зятем:

– Чтобы за неделю получили паспорта, определялись на работу и на свой паек. Я сама живу коровой да еще за карточку, за рабочую, – полы в общежитии мою.

Женяра виновато поникла: она знала, что им с мужем и неделю не протянуть на завоеванном, от родины полученном довольствии. Солдату Хахалину при демобилизации выплатили сто восемьдесят рублей и продовольственных талонов на десять дней. Женяре – хоть и маленькому почтовому начальнику – отвалили аж восемьсот рублей и талонов тоже на десять дней, еще билет бесплатный и новое обмундирование ей выдали. Коляша Хахалин явился на пермскую землю в пилотке и в сапогах, а тут уже зима! Хорошо, что от Белоусова-отца кое-что осталось и от брата. Мать выкинула мятые, пыльные вещи, сказала, что люди едут с фронта как люди.

– Вон офицер из какого-то смертша и ковров, и вещей дорогих навез, да и золотишка, а тут ровно с каторги парочка явилась: гола, нага, хвора к тому же.

Уже на другой день, не глядя на хворь, Женяра, не переставая покашливать, давля одышку, управлялась по двору, доила и поила корову, муж ее чистил стайку, колол дрова, вел себя пока безропотно, но чувствовала она, что муж нагревается, закипает и скоро-скоро, воткнув топор в чурку, решительно рявкнет: «А шли бы вы все вместе со своим хозяйством на хер!» – бросит жену и рванет из Красновишерска куда глаза глядят.

Глядя ночью мужа по голове, по отросшим, ершистым волосам, Женяра просила:

– Не спорься с мамой, Коля, не спорься. Терпи. Я же терплю. Всю жизнь. Мама у нас всегда и во всем права, и всегда сверху. Папу, брата и меня она жевала, жевала, всю дорогу жевала. Она даже в письмах нас жевала. И папа с братом, если живы, спрятались от нее. Теперь вот мы ей на зуб попали...

– Н-ни-иы-ычего! Меня не больно ужуешь! Я спереду костист, сзади говнист, – хорохорился Коляша.

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
Женяра, скрыв беременность, поступила на почту – таскать сумку. Коляше легкой работы не находилось, и он начал помогать приживале Анны Меркуловны – возить в лес грузы.

Боже, Боже! Что там делалось, в лесу-то, в уральском-то!.. Переселенцы, пурхаясь в глубоких снегах, на морозе, в непривычных горах, среди холодных камней и в скалах, возле стиснутых льдом речек, погибали сотнями. Дело доходило до того, что в некоторых поселках перестали хоронить покойников. Общение с миром и жителями переселенцам было категорически запрещено, отлучки куда-либо – тоже. Вечно пьяный, одичавший комендант поселка на Цепеле, имеющий право стрелять в людей за любую провинность, в конце концов застрелился сам. Никто из барачников выйти уже не мог, и никакая сила не могла заставить людей взять в руки пилу и топор. Переселенцы съели коней, собак, кошек, толкли кору с опилками. И когда какая-то комиссия, правительственная или международная – небесными, не иначе, путями донесло глас страдающего народа до Канады – на тракторе прорвалась на северный Урал, опасаясь международного скандала, зашевелились внутренние каратели и палачи, возглавляемые в области генералом Зачепой, наполовину татаринном, наполовину хохлом. Через несколько лет этот деятель будет избран депутатом Верховного Совета как железный чекист и истинный коммунист, а еще через года три во время денежной реформы нагреет он родное государство на несколько миллионов и, будучи помещен в закамскую психушку, быстренько кончит там свои дни, потому что орал на всю округу, мол, есть воры и повыше него и он всех выведет на чистую воду, исчезнет беззвучно и бесследно с испоганенной и ограбленной земли.

Зачеповцы доставляли продукты лишь в последний в мире поселок с подобающим месту названием – Сутяга. Далее переселенцы тащили продукты на волокушах по «точкам». Дело часто кончалось «передачей» – умерших в упряжке людей меняли те, что могли еще двигаться и тащить волокуши дальше. Переселенческие поселки на западном склоне Урала опустели. Коляша, ездивший с делягой-переселенцем в тайгу, на речки Цепел, Молмыс и Осмыш, побывал в тех мертвых поселках. На печах, слепленных из каменного плитняка и проросших осинником, белели скелеты. Более всех поразили бывшего солдата два сцепившихся меж собой скелета: большой скелет держал в объятиях скелет маленький, кости белые так спутались меж собой, что было их не различать.

Спустя годы в этих местах, за что-то Богом проклятых, новые зачеповцы, борясь за светлое будущее, разместят лютый политический лагерь с лирическим названием – «Белый лебедь».

Однако, все это произойдет потом. А пока Коляша, потаскав мешки с мукой и солью, перетрудил раненую ногу, заприхрамывал сильнее обычного и однажды едва отодрал кальсоны от коленного сустава – рана вновь начала гноиться, из нее начали выползать белыми червячками крошки костей и полусгнившие лангетки.

Так и не удивив трудовым энтузиазмом город Красновишерск, не украсив городскую Доску почета своим портретом, Коляша Хахалин отправился на медкомиссию в Соликамск, откуда кинут был в областной центр – город Молотов, где и провалялся до тепла в госпитале.

По надсаженной, разрушенной войной стране шли полным ходом восстановительные работы и катилась безудержная победная болтовня. Все громче, все красивей, все героичней и романтичней преподносились подвиги на ней бесконечные. И под этот звон, под песни и патриотический, все заглушающий ор косяком вымирали фронтовики от застарелых ран и болезней. И бдительными зачеповцами вычищались ряды советских людей от скверны. Людей, перенесших невыносимые страдания и муки в оккупации и в плену, нескончаемым потоком гнали и гнали на очередное перевоспитание – в лагеря, в края далекие, гибельные. Урал прогибался старым хрустким хребтом от тяжести концлагерей, на нем размещенных, от костей, в него зарытых.

Вожди и теоретики коммунизма по науке ведали, что после каждой почти войны во всех странах бывали волнения, бунты и даже революции. Поводов для ропота и недовольства у победителей фашизма было более чем достаточно. Вернувшись с войны, они застали надсаженные, голодные, запущенные, быстро пустеющие русские деревни, где продолжало царить укоренившееся в годы советского правления бесправие, по сравнению с которым проклятое на Руси крепостное право выглядело детской забавой. Двенадцать миллионов – гласила людская молва – медленно

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru) погибали в лагерях смерти, и столько же стерегло их, придумывая все новые и новые преступления ни в чем не повинным людям. Вместо обещанной, заслуженной, выстраданной, сносной хотя бы жизни, заботы о победителях – новые гонения, неслыханные зверства, страдания в концлагерях.

Брали и в войну, даже из госпиталей. Один поэт, тихо сказывали госпитальные работники, бывший шахтер Домовитов, над койкой которого, к несчастью его, размещалась радиоточка, выключив радио после прослушивания боевой сводки, кратко прокомментировал ее: «Вот, всех врагов посокрушали, а у нас, как и прежде, никаких потерь...» Той же ночью вместе с перепуганным дежурным врачом вошли в палату еще два врача в белых халатах, сказали, что больного переводят в другой госпиталь, переложили с кровати на носилки и унесли – на десять лет – в Усольские лагеря...

Коляша – человек битый, голосу не подавал, с героями войны всякие споры прекратил, даже против глупейших высказываний, вроде: «Вызываю огонь на себя!» или «Я бы с ним не пошел в разведку», – не спорил. Он уже понял и смирился с тем, что и боль от ран, и большая память – это на всю жизнь, это до гробовой доски, и, когда наплывало прошлое, брало за горло, – он покорно вновь и вновь переживал и пропускал через себя, через свое усталое сердце неотвязное горе, военные будни, слышанное, виденное, в котором было уже и не разобраться: где явь, где бред. И чем больше ввали про войну, сочиняли красивые слова и картины, тем больнее тому сердцу было, тем горше память – от себя не убежишь, не спрячешься.

Ближе к концу сорок третьего вместо выбывших бойцов начались пополнения из западных украинцев и из тех, что с сорок первого гола, с массового отступления, сидели под спидницей, под бабьей, стало быть, юбкой, – как огрызнется немец, ударит, так доблестная пехота и разбежится, оголив артиллерию и все, что позади нее. В батальоны, в роты для корректировки огня ходили обычно связист с командиром взвода управления или с командиром отделения разведки. И вот драпанула пехота вместе с ухарями-командирами и речистыми комиссарами, войте на здоровье двое дураков-артиллеристов! Да? Но это ж не в кино, много не навоеешь. А немцы с танками – вот они, наседают, и тогда старший передает координаты, а связист, весь напружиненный, собранный для драпа, напряженно ждет, когда раздастся на батареях слово «Выстрел!» – и затем, выдернув заземлитель, повесив телефонный аппарат на шею, ждет уже на выходе из блиндажа или в исходе траншеи, когда над головой, снижаясь, зашипят снаряды, настоящий же артиллерист, тем более телефонист, обязан отличать по звуку полет своих снарядов, и в момент первых взрывов, но лучше за секунды до них, надо вымахнуть в поле и дать стрелкача, да такого, чтоб ноги земли не слышали.

Ну и что? Прибегут они на наблюдательный пункт или на батарею напрямик, там объятья, поцелуи, отцы-командиры картузы в воздух бросают: «Ах, герои, герои, герои!»? Да в лучшем случае комбат или кто из дивизиона скажет: «Высочили? Живы? Ну, ужинайте давайте и за лопаты – надо окапываться, а то нам тут так дадут, что и обмотки размотаются».

И с разведкой то же самое. Уж больно ловко и героически дела обстоят. Коляша всего один раз ходил в разведку, да вовек ее не забудет. Под Проскуровом – город такой был, и, между прочим, бригада родная, артиллерийская, была поименована Проскуровской, но коли название города переменяли, сделался он Хмельницкий, то как теперь бригаде-то именоваться? Ну да ладно, разберутся, кому надо.

Значит, по военным планам должны войска фронта уже далеко за Проскуровом быть, но его еще и не видать. Застряли возле каких-то деревушек и неожиданного, настоящего, овражного леса, уходящего до горизонта. Снова контратака, и снова пехота спрыснула. Попробовали было и артиллеристы истребительного полка дерзнуть от орудий, следом за пехотой, да появился комполка в нарядной папахе, встал кривового на бруствер, орет: «Смотрите, подлецы, как вашего командира полка убивать будут!..» – расчеты начали возвращаться к орудиям, стрелять; тех, кто прятался, отыскивали, адъютанты и политруки пинками гнали на позиции.

День сидят, другой сидят – ни с места. Пехоты нет. Слух катится, заградотрядчики вылавливают по деревням в гражданское переодетых воинов и вот-вот в атаку погонят. В это время на передовой прикатила стая грязью забрызганных машин, и коренастый человек в кожане стремительно направился в блиндаж командира стрелковой дивизии, между прочим, гвардейской, и командир ее – Герой Советского

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
Союза – за Сталинград. Да где вот они, те, кто насмерть стоял на Волге?  
Просрали, как говорил, воспитывая Коляшу в Новосибирске, важный чин,  
настоящую-то, кадровую армию, рассорили людей русских по полям битв и вот теперь  
в отребье превратившихся окруженцев, местных бздунов за родину заставляют  
воевать. А родина-то у них здесь, и они ее больше любят, чем ту, что за Уралом.

Одним словом, зашевелилась передовая после отъезда большого чина в кожанах,  
говорили, сам Жуков наезжал и давал разгон. Атаковать противника надо, а где он,  
сколько его, какие его планы? Вот тут-то и сгодились артиллеристы, вот тут-то и  
выпало им заниматься не своим делом – идти в разведку.

Еще на Днепровском плацдарме на наблюдательный пункт третьего дивизиона упал с  
неба десантник с простреленным парашютом и вывихнул ногу. Его лечили и  
допрашивали. Парень доказал, что он был из той самой бригады, которую бездарно  
погубили, выбросив с большой высоты ветер и под огонь немцев. Уцелел он только  
потому, что догадался прыгать с красным, а не с белым парашютом, красный темно в  
ночи глядится, купол прострелили уже над самой землей. Парень был ловкий и  
боевой, говорил, что после того, что он пережил в небе, ему уже ничего не  
страшно на земле. Его оставили в бригаде, в управлении третьего дивизиона, и  
скоро он возглавил разведку. Ему-то и поручено было отобрать людей и ночью  
сходить на «ту сторону», посмотреть, что там и как, если возможность будет,  
взять «языка».

В число четверых попал и Коляша Хахалин, видимо, по признакам увертливости и  
ловкости тела, здоровенный еще мужик Герасименко, как догадался Коляша, ему  
надлежало тащить «языка», и тоже боевой, в стрелковых ротах повоевавший боец  
Обухов.

Десантник весь день не отлипал от стереотрубы, изучал местность и противника,  
вел свою троицу поздней ночью, почти уже под утро, уверенно, точно вывел к двум  
клуням, порядочно отстоящим от села. В клунях были склады, и вокруг них ходил  
часовой. Его-то, часового, зябнущего в отдалении от своих, и решено было брать,  
да вот в жизни так заведено, что не все просто берется, что близко ведется, и с  
шоферской практики Коляше известно: самый длинный путь тот, что кажется  
коротким.

Знающий приемы десантник прыгнул на часового, сорвал с него автомат, но  
растерявшийся было немец так хрястнул через голову разведчика, что тот какое-то  
время и двигаться не мог. Коляша Хахалин, в обязанности которого входило зажать  
пленному рот и сунуть кляп с приготовленной для этого дела пилоткой, получил  
такой удар, что взрывом мелькнуло пламя из его правого глаза, упал он головой в  
ровик, копаный от бомбежки, следом к нему прилетел и утих разведчик Обухов.  
Спас братьев-разведчиков Герасименко. По плану он должен был надеть на  
пленного наручники и шел на врага последним. Немец и Герасименке завез плюху, но  
этого так просто не сшибешь! Герасименко с испугу, не иначе, но говорил-то он  
потом другое и по-другому, ударил постового самоковными наручниками и попал по  
голове. Фриц заорал. К этой поре маленько очухался десантник, выскочили из  
ровика Коляша с Обуховым и попутали немца, надели-таки на руки врага самоковные  
наручники с пуд весом, заткнули вражескую орущую пасть, но и покой нарушили. По  
ним и по нейтральной полосе открылся сплошной огонь.

«За мной!» – скомандовал десантник. Разведчики поволокли немца в темень. Немец  
не хотел ползти, сопротивлялся. Десантник концом финки подгонял врага: кольнет –  
тот двинется, упрется – десантник снова его кольнет...

Огонь отдалялся, и разведчики не сразу поняли, что отползают в тыл, не сразу же  
и оценили действия старшего – сунься они через нейтралку, их давно бы уже  
перебили, такой шел огонь, иль оцепили бы, накрыли и самих в плен забрали.

Десантник клонил группу в лесистые овраги.

В деревне нарастал шорох, крики, зазвенел мотор мотоцикла, собаки залаяли.  
Старший сказал: «Ну, фриц, прости, не уберег тебя твой бог», – и, как борова,  
заколол пленного. Разведчики долго плутали по лесу, слыша повсюду голоса и  
выстрелы. Наткнулись, наконец, на ограду из колючих растений, оцарапавшись,  
продрались сквозь нее и оказались в неразоренной, на зиму закрытой пасеке, где и  
сидели три дня, опасаясь пчел, фашистов, жевали плесневелые, мышами источенные  
сухари, старые соты и воск.



Тем временем наши войска перешли в наступление, продвинулись вперед. Избитая, исцарапанная, голодная разведка явилась в свою часть. Там уже и похоронки на всех четверых заготовлены.

А вот еще история, презанимательная, на этот раз из авиационной жизни, которую Коляша услышал в госпитале.

В начале войны одна из наших штурмовых воздушных дивизий летала и билась на первых, примитивных «Илах». Самолет состоял из отлитой вроде сигареты болванки с пропиленной в ней дырой – для пилота, приделанных к этой болванке крыльев, хвоста и не очень убойного вооружения, защиты же ни сзади, ни спереди – зачем вообще советскому воину, пусть и летчику, защита, когда товарищ Сталин и его гениальные помощники предусмотрели только наступать, громить, побеждать. Но на болванке той летали летчики кадрового состава, и немцу не вдруг удалось побивать и выжечь воистину стойкую, воистину славную дивизию, но все равно без обороны тяжелые в управлении, слабоманевренные самолеты были обречены, и в конце концов остался в дивизии один только «Ил». Все

технические силы бросались на этот избитый, издырявленный, троса и кишки за собой волокущий самолет, когда он возвращался с операции и плюхался брюхом на посадочную полосу. И летчики строем стояли, чтобы подняться в воздух и лететь на врага, который тучею гонялся за этим, все время воскресающим, бессмертным штурмовиком.

Будь на месте немцев наши военные заправились, они б давно уже списали в расход две или три фашистских воздушных дивизии и ордена бы получили. А немец, пока не добил, не уничтожил последний русский самолет, рапортовать не станет, – не наловчился он еще как следует рапортовать о досрочно выполненных планах, о стройках, завершенных за три года вместо пятилетки, ему, немцу, еще предоставится возможность перенять наш передовой опыт по этой части, он еще докажет, что мухлевать умеет не хуже нас, пусть и не по всей Германии, а лишь на передовой, самой ее демократической части. Но в конце концов упрямые немцы добились упрямый русский самолет, на который молились, за который держались, за костями которого скрывались: штаб дивизии, политотдел, хозяйственные и технические службы, секретные, финансовые отделы, смершевцы, трибунальчики, медики и сигнальщики, – в ту пору даже в полномоставной авиационной части сражались один летающий к пяти обслуживающим летающего. К концу же войны эта цифра утроится, где и упятерится, потому как самолет делается мощнее, боевитей, грозней, следовательно, и военных тунеядцев и дармоедов на него навешается несметное количество.

Или история, свидетелем и участником которой был и сам боец Хахалин.

После Проскурова хорошо и ладно покатило наступление вперед на запад, и осень сухая была, фруктов и овощей урожай невиданный, жратвы от пуза, знай вой, громи захватчика! Как вдруг – о, сколько этих «вдруг» на войне! – вдруг спотычка, заминка, остановка возле небольшого уютенького городка Старокопстантинова. Станция тут была довольно разветвленная, и, должно быть, немцы не все, что намечали, успели эвакуировать.

Ну, пошла война нормальная, привычная, из пушек и минометов по городишку и станции палить начали, штурмовики закружились над целями, им известными. Город сплошь крыт рыжей черепицей, полетели вверх, красно сверкая, искры и осколки. В некоторых местах города задымил, на станции густо полыхали и клубами огня рвались цистерны и какие-то резервуары.

За день вперед не продвинулись, город Старокопстантинов не взяли. Ночью – менялась ли пехота на передовой, резерв ли к ней подтягивался – целый батальон, ориентируясь по нашим аховым картам, заблудился на пути к цели. Он даже и не заблудился, а как-то сумел промазать передовую и углубиться в тылы врага. Утром из штаба полка запрос: сообщите, где находитесь? Какая боеготовность? Командир батальона по карте дает квадрат местонахождения, ориентиры, и главный из них – перед батальоном железнодорожная станция, а вот соседей ни справа, ни слева отчего-то нету. Не прошло и десяти минут, как сам уже командир полка требует уточнений. И раз, и два, и три требует – и все выходит, что доблестный его батальон обошел город Старокопстантинов, находится в его тылу, и, коли никакого сопротивления не встретили, значит, противник ночью город оставил, и выходит

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
что? Выходит, его полк взял сам, один этот город, имеющий важное стратегическое значение по причине крупного железнодорожного узла, совсем мало разбитого нашими штурмовиками и артиллерией.

К этой поре, к концу сорок четвертого года, червоноармейские командиры воевать немного подучились, хотя людей по-прежнему не щадили и не жалели, и армия несла прямые потери на фронте, не меньшие, чем и в сорок первом, но уж зато хитрить, обманывать, карьеру лепить наловчились так. что со времен сотворения где-либо и каких-либо армии не встречалось такого. И эта вот хитрость, обман большого и даже совсем небольшого командования тихо и «незаметно» всюду, вплоть до Кремля, – поощрялись и сходили как бы за «мелкую инициативу», а среди солдат – «за находчивость». Все чаще и чаще крупные города штурмовались и брались без надлежащей поддержки, без подтягивания свежих сил одной армией, дивизией с ходу, с лету, «умелым маневром». И уж, конечно, за все за это командиры армии, корпусов, дивизий отмечались и в приказе Верховного, повышались в звании, непременно получали звезду Героя Советского Союза.

Армией, корпусом, дивизией, а если полком? Один стрелковый полк вот взял и овладел городом Старокопстантиновом и важным железнодорожным узлом. – да ведь осыплют наградами и почестями весь полк, присвоят гвардейское звание полку, и впредь полк будет называться – Отдельный, Старокопстантиновский, самого ж полковника в генералы произведут, звезду Героя ему на грудь прицепят и на дивизию поставят, остарел прежний комдив, волокется вот где-то со штабом своим и войском, а тут передовой полк сверхбоевую задачу выполнил, городом овладел, о чем командир полка с утра пораньше доложил в верха и от радости загулял.

АН, не успела дивизия подтянуться и развернуться, как батальон, забравшийся сдуру в тылы противника, попал в переплет, завязал бой с отходящим из Старокопстантинова немцем, был почти полностью смят, потому как нигде, ни к кому не привязан, никем не поддержан. И в городе самом постреливают, кто, где, почему?

Пока выясняли обстановку, пока выручали остатки батальона, вот тебе и обед. А после обеда привычно уже, в четыре часа по радио должен прозвучать приказ Верховного Главнокомандующего о наших победах, об освобожденных городах и населенных пунктах – душу греют эти сообщения, на моральный дух войска очень положительно влияют, сил прибавляют.

Коляша, помнится, с телефоном из блиндажа вылез, сидит на бровке хода сообщения, ноги свесив, греется на солнышке. И вот он, приказ, радист звук усилил. Все слушают голос Левитана, торжественно, железно звучащий. Пошло перечисление городов и городков, названия частей, их освободивших, и, среди прочих других побед, как-то особенно громко, почти оглушающе прозвучало название – Старокопстантинов, и особо выделен и отмечен доблестный стрелковый полк, героическим броском его освободивший, и фамилия командира полка названа чуть ли не наперед командира дивизии стрелковой.

Связист Хахалин умирать будет, но не забудет, как умолкло все вокруг, как перестало бродить, шевелиться, дышать войско – обманули самого Верховного Главнокомандующего, самого товарища Сталина!

Коляша Хахалин поскорее с глаз вон и с собою телефон, в землю, под накат. В блиндаже, схватившись за голову, командир дивизиона сидит, не лается, ничего не говорит. Поднял голову, глянул на Коляшу унылым взглядом:

– Вызывай комбатов, – затем протянул руку за трубкой и сказал: – Выкатывайте орудия на прямую. Не разведано? Не засечено? А я этого, по-вашему, не знаю? Засекать во время боя, бить по действующим точкам. Ага, я вам сей миг поднесу и данные, и согласованность!.. Сейчас начнется то, что у нас именуется штурмом, – погонят все стадо без разбора, так помогайте штурмующим и не давайте лишка народу губить, у нас его и так осталось...

И погнали правого и виноватого, всех, кто был на виду, на ходу и на пути повстречался. Вперед, вперед, под пулеметы, искупая позор, расплачиваясь за разгильдяйство. К вечеру город взяли, не шибко и искрошив его, да и некого особо было крошить – немцы отвели уже основные силы, оставив хорошо поставленные пулеметы на водокачке, на пожарной каланче, на вершине костела, на луковках прикладбищенского храма да на чердаках высоких домов, которых, слава Богу, в

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
этом городе оказалось немного.

И сколько ж народу, все тех же сырых солдатиков, осталось лежать в полях, по высоткам да по зеленым улочкам тихого городка, который можно и нужно было взять бескровно!..

Коляша Хахалин этаких историй знает и наслышался столько, что, ежели их порассказать, – тысяча и две ночи получится. Но он уже давно, с детства считай, знает, о чем говорить можно, а о чем помолчать следует или Женяре за печкой высказать, облегчить сердце. Чтобы не впасть во грех, он не станет ходить с выступающими героями, врать про войну, лучше стишок сочинит и пошлет в газетку, там его напечатают и три, а когда и пять рублей пришлют, аккурат на поллитру, иногда и с закуской.

В областном, не очень уютном, переполненном госпитале Коляша Хахалин с ходу освоился с культурной его общественностью и с ходу же написал стих в стенгазету под названием «Победный стяг», заделался активным читателем госпитальной библиотеки, распространителем «Блокнота агитатора» и другой политической литературы. Проводил беседы в палатах на разные темы, совершенствовался в игре на гармошке, но выступать вместе с группой бойкоязыких выздоравливающих не ходил, чем весьма удивлял бывшего начальника финансового отдела гвардейской стрелковой дивизии Гринберга Моисея Борисовича, возглавлявшего в госпитале агитационную кампанию. Гринберг Моисей Борисович хотя ранен и не был, но ежегодно проводил в госпитале профилактическое лечение сердца, печени и почек, подорванных на фронте. Коляша сказал наседающему на него активисту, что подвиги никаких на фронте не сотворил. «Да как же так?! – изумлялся Гринберг. – Два ранения, орден и медаль имеете, кто ж тогда герой, как не вы? Кому ж тогда молодежь воспитывать?..»

В Красновишерске разрешилась девочкой Женяра и намекнула в письме, что надо бы узаконить супружеские отношения, расписаться, ребенок должен быть зарегистрирован и на довольствие поставлен. Пока она дочку везде записывает по фамилии Хахалина, однако ж всюду требуют свидетельство о браке.

Коляша длинно, путано ответил, что не отрицает он своих родительских обязанностей, и, когда из госпиталя выйдет, найдет легкую работу, встанет на квартиру, – непременно вытребует к себе семью в областной центр, потому как в Красновишерск, к любимой теще, его нисколько не манит.

Тертый калач Коляша Хахалин ловок и увертлив в этой жизни сделался. Да половчей и повертче его народу развелось дополна. Все должности, где можно получать зарплату и ничего не делать или ловчить, показывая, как ее, работу, усердно делаешь, – порасхватили. и вышел Коляша на всем доступные, ближние рубежи: хватил базару – поторговал табачком, разбавляя самосад тертой жалицей и сухой полынью; ездил со спекулянтами в город химиков Березники за содой, хорошо выручился, но, как выручился с компанией инвалидов, так в компании той денежки и прокутил. Успел, правда, отправить Женяре пятьсот рублей – аккурат на булку хлеба.

И все-таки на легкую работу он попал – военкомат юмог устроиться физоргом-организатором на завод имени товарища Ленина, в Мотовилихе. Физкультурный отдел завода возглавлял румяный, жизнерадостный мужик по фамилии Абальц, по имени-отчеству Карл Арнольдович, который почему-то всем приказывал называть его Ленчиком.

Привезенный с Запада и брошенный сгорать в горячий цех на Урале, он выдавал себя за немца, хотя намешано в тем было кровей с десятков. Начальство, глядя на бурного и бестолкового работягу, турнуло его на мороз – отгружать и погружать отливки – немец же! Кабы чего не взорвал! Со двора Ленчика убрало время и тигриная ловкость. Сделался он ни много ни мало – комендантом общежития, сперва одного, затем всех заводских общежитий. Ленчик вспоминал ту пору – это самую-то середину войны! – жмурясь, что кот. Попил он и поел сладко; кадры женские поспасал от застоя, пока не нарвался на Людку Перегудину, которая, забеременев, не полезла в петлю, не стала пить отраву, не сделала аборт, как многие ухажерки Ленчика. Она пошла к парторгу завода, а тогда еще редко ходили бабы к комиссарам, к парторгам. Тот заводской парторг был из военных комиссаров, инвалидов войны. Он вместо того, чтоб уговаривать, убеждать, взял Ленчика за грудки и, багровея, сказал: если он, недобитый враг, обездолит русскую бабу и

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
ребенка, – поедет в лес – валить древесину для лож боевых винтовок и на лыжи...

К поре пересечения жизненных путей Ленчика и Коляши у Абальцев было уже двое детей. Людка ходила разодетая в шмотки из американских подарков, прицеливалась родить третье дитя. Ленчик заправлял заводской физкультурой и жил в общем-то, как и прежде, вольной физкультурной жизнью. К Коляше Хахалину – фронтовику, который к физкультуре был не годен и вообще ничего не умел – ни физкультурить, ни руководить, начальник отнесся по-отечески, не должно так быть, чтоб фронтовик пропадал. Распознав о его писчих увлечениях, Ленчик на первый случай организовал корпункт при физотделе, назначив во главе его Коляшу. и приказал писать отчеты в многотиражку, в областные газеты «Молодая гвардия» и «Звезда» – о громких спортивных делах на заводе имени товарища Ленина.

И пошло-поехало творчество! Прозой Коляша писал о физвоспитании, о спортивных соревнованиях на заводе, стихами же восславлял весь советский спорт, ну и не забывал выдать к женскому дню Восьмое марта, к Первомаю, ко дню Парижской коммуны стихопroduкцию. Стишки исхитрялся он писать «лесенкой», как у Маяковского, – чтоб гонорару выходило побольше. Поскольку Ленчик его угощал, он тоже был вынужден угощать своего шефа. Начал посещать литературный кружок при Союзе писателей, разок-другой вступил в творческую полемику, потом уж и завсегдаатем литсобраний сделался, прослыл теоретиком поэзии и компаньоном в застолье...

И только никак не получалось помочь Женяре. Иногда это угнетало совесть поэта. Ленчик Абальц. узнав однажды, сколько платят за заметки и стишки, возмутился, по-русски изматерился и подал мысль заняться Коляше судейством. Футбол хромому судить несподручно, но волейбол, пинг-понг, легкоатлетические соревнования, когда надо судить за столом или наверху, в корзине. – он вполне одолеет, пусть только изучит наставления и правила, а потом уж, на месте, соображает, кого, как, за что и, главное, за сколько судить. Меж цехами, особенно меж заводами идет сражение, как у турков с русскими под Измаилом. За первенство профсоюзные коллективы всегда готовы «подсобить» судье в его справедливой и сложной работе.

Славно пошли дела у Коляши Хахалина, карманные деньги завелись, друзей полон город Молотов. Он и про Женяру с дочерью забывать начал. Но она явилась из Красновишерска сама, да еще и с ребенком.

Была у Ленчика Абальца резервная комната в одном из старых общежитий, в ней и обретался Коляша, часто, по просьбе хозяина, освобождал комнату и койку, иной раз и на всю ночь – значит, Ленчик сказал своей жене, что уехал судить областные соревнования, а она делала вид, будто верила этому, потому как Ленчик с «соревнований» привозил какой-нибудь сувенир и деньги.

Женяра – пронцательный человек, сразу же угадала сущность мужниного жилья, назвала его комнатой свиданий и решительно потребовала:

– Вот что, друг ситный! Ты уж больно поговорки и приговорки всякие любишь, так вот есть такая: лучше жениться, чем волочиться. Айда-ко под венец, а то, я гляжу, ты здесь здорово захолястывал, не говорю уж про нас с дочкой, вроде бы даже и про хромую ногу забыл – петушком прыгаешь!..

Пришлось идти в Мотовилихинский ЗАГС – расписываться. Свидетелями при регистрации являлись Абальц Карл Арнольдович и Людмила Прокофьевна Абальц-Перегудина. «Сведи Бог вас и накорми нас!» – молвила свидетельница и увела молодоженов к себе, выставила на стол винегрет, соленые грибы и вареную картошку да бутылку разведенного спирта. Жених от себя, из бокового кармана заношенного бушлата поллитровку вынул. И грянула свадьба, скорая, что вода полая. Пили и пели. Коляша, уперев негнущуюся ногу в дырку детского стульчака, играл на гармошке, валясь с боку на бок, тенорил, правда, хрипловато. Как всегда по пьяни, завел он песню своей незабываемой артиллерийской бригады, от которой только песня и осталась, – бригаду и всю Краснознаменную Киевско-Житомирскую дивизию давно уже расформировали, знамена в военный музей сдали. В смысле слова и искусства все схватывающий на ходу, он изрядно поднаторел на гармошке, так что, если даже на тротуар где усядется, – без милостыни не останется.

Солдату на фронте тяжело без любимой,  
Ты пиши мне почаще, пиши, не тревожь.  
Быть может, не скоро вернусь я к любимой,

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
Но становится легче, когда песню поешь...

Когда песня дошла до середины и накатили слова:

Алена, Алена, дорогая подруга,  
От меня далеко ты – и в год не дойдешь.  
Быть может, не скоро вернусь я к любимой... –

все уж лицо Коляши залило слезами, с носу капало, в углах губ скапливалась соленая влага, гармонист тряс горькою головою, стряхивая мокро на воздух.

Все плакали. Кроме трезвой Женяры. Прижав ребенка к себе, она смотрела, как уверенно, притиснув к стене стульчак с дыркой для горшка, наяживает на гармошке, поет и плачет ее ныне законный муж, и едва удерживалась, чтобы не нахлестать этого непутового мужичонку по щекам, потом упасть ему на грудь и тоже выплакаться.

– Чтоб тебя, Коляша, пополам да в черепья, как говаривала моя мама, – жалостно проговорила Людка, утираясь бумажной салфеткой. – Вечно ты разбередишь душу, про папу моего бедного напомним – совсем ведь, совсем молодой погиб... – всхлипывала Людка, доставая из буфета еще одну бутылку.

– Может, хватит, – подала робкий голос невеста.

– Чего хватит? Чего хватит? Ты посмотри на моего благоверного – в него же, как в паровозный тендер, – из шланги лить надо!

Ленчик Абальц от похвалы запламенел что праздничный кумач, обнял жену волосатой ручищей, попытался ее нежно приласкать, но она толкнула его локтем в грудь и, разливая жидкость по рюмкам, наставительно молвила:

– Вот че я те, подруга моя дорогая, скажу. В девках ты много плакала, значит, замужем тебе выть. Забирай-ка ты своего физкультурника и увози куда глаза глядят. Сопьется он здесь, разбалуется совсем, ханыгой станет...

В дальнейшем продолжении застольного разговора Людка твердо и почти трезво заявила, что своего супруга ей уж не исправить, и она ему все равно голову отрубит или посадит лет на десять. Вот дети подрастут, и она исполнит свой завет. Пока же потерпит. Ради детей.

Самое интересное было то, что Ленчик Абальц выслушивал эти угрозы, чуть ли не зевая, – скучно ему было слушать подобные речи. Наслушался он их – кто его к смерти не приговоривал?! Советская власть – за чужую кровь; бабы – за любовь и обман; бухгалтеры – за путаную отчетность; блатяги – за мухлевание в картах; спортсмены – за увертливость и неправильное судейство соревнований на первенство завода или города...

...Не вдруг, не сразу устроилась жизнь супругов Хахалиных – время пришло такое, что все устраивались, внедрялись в мирную жизнь, и этой паре никак не находилось подходящего места среди людей.

Жили они в той самой «комнате свиданий». Женяра числилась уборщицей и вахтершей в общежитии, еще подрабатывала стиркой, шитьем, упочинкой. Коляшу она устроила на почту – экспедитором, однако он и там пил, да к тому же простужался, часто болел и попадал в госпиталь, откуда выписываться не торопился. И всякий раз, завалившись в госпиталь, Коляша заставлял там новых больных, раненые бойцы вымирили, а Гринберг Моисей Борисович до того долечился, что и в самом деле стал болеть, сделался плох, одряб, посерел лицом, но упрямо ходил воспитывать молодежь по клубам, красным уголкам цехов и предприятий, по школам. Жаловаться, правда, стал, что молодое поколение в школах слушает ветеранов невнимательно, более того, бросает обидные реплики из зала.

«Люди начинают уставать от вранья», – думал Коляша Хахалин, которого все чаще называли уже Николаем Ивановичем, правда, частенько шалопай Коляша настигал солидного Николая Ивановича, давал ему подножки.

Всякий человек есть человек, инвалид – тоже, и российскому человеку, хоть он и больной, хоть и в госпитале, – тоже выпить хочется, но где средства брать?

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
Пенсию жена забирает, зарплата короче воробьиного носа – редко удается  
рубашко-другой утаить, выходит, надо самому вертеться, добывать денег на  
выпивку.

Водились в госпитале и по-за ним «стервятники» из ветеранов, это те, что рыскали по городу, тряся инвалидной книжкой, покупали без очереди продукты, шмотки, билеты на железнодорожном вокзале и тут же продавали их по спекулятивным ценам. Коляша презирал «стервятников», плевался, ругал их, мол, позорят честь советского воина, но так грыз внутри червь, так сосал его ненасытный глист, что не выдержал он и подался к магазину «Колбасы», где уже паслось с десяток шустряков в капроновых шляпах, с колодками на пиджаках.

Коляша к этой поре инвалидность утратил – себе дороже, пенсия-то сто восемьдесят рублей, на стакан кислухи едва хватает. Ежемесячно на комиссию – день пропадает без оплаты, восемьсот граммов хлеба по карточкам, когда булка хлеба тянула на базаре на тысячу. Вот Коляша и перестал ходить на комиссии. Не он один, многие калеки войны утратили инвалидность по третьей группе. И, ох, спохватятся они на старости лет, тратя последние нервы, примутся восстанавливать инвалидность, и у кого справки из госпиталя велись, те с грехом пополам, с проволочками, достойными строгого коммунистического учета, восстановятся. Но многие так и лягут в гроб, хлопоча о справках, так и не дождутся благ от государства, которое спохватится и вспомнит о солдатах, спасших мир и отечество от фашизма, лишь к тридцатилетию Победы, когда уж совсем проредятся колонны бывших бойцов и не так уж накладно государству будет благодетельствовать оставшихся в живых.

Выпячивая грудь с колодками, Коляша купил два килограмма сосисок и вошел в соседний, каменный двор, где перекупщиков уже дожидались торопливые люди. Женщина в грубых, какой-то химией скоробленных ботинках, желтая лицом, с пепельными натеками под глазами, заталкивая в сумку висюльки сосисок, с ненавистью глядела на продавца:

– Колодки нацепил! В штабе каком-нибудь ошивался альбо в комиссаришках.. – и пошла по грязным лужам, не разбирая дороги, шурша тяжелой, как бы жестяной юбкой, тоже химией вылуженной.

Зарекся Коляша ходить с бригадами «стервятников» на промысел, но на уговоры Гринберга поддался, сделал вылазку-другую на платные вечера с патриотическими выступлениями. В доме пионеров, по наводке и подсказке Людки Абальц-Перегудовой засекала Женяра мужа. Ну и дала она копот!

– Да что же это ты делаешь?! До чего же ты, Колька-свист, докатился?!

Коляша поразился: Женяра вспомнила – и к месту! – его давнее прозвище.

– Я за что к тебе приластилась-то! Да за то, что ты про святое дело – про войну – не брехал, в партию в ихнюю не записался! Насмотрелась я за войну-то, наслушалась наших партийцев почтовых да из цензуры которые.. Ты думаешь, где вот они сейчас? Так же, как мы, бездомовые, полуголодные, маются? Да о них-то как раз братики-энкэвэдэшники позаботились! Предложили занять квартиры в центре Риги, дали хлебные должности! Живут, жируют по Латвиям да по Эстониям! Но я им не завидую, неэт! Придет, придет пора – вернутся прибалты из лагерей и ссылки, не все, но вернутся.. И что тогда? Что, я тебя спрашиваю?

– Да откуда я знаю? – отозвался Коляша и подумал, что, если жена узнает, как он сосисками подторговывал, – тогда уж все! Тогда конец их семейному союзу!..

– А ты знай! Знай! И войну помни! А то опустился до того, что тоже по школам да по клубам пошел! Вместе с этими, что в капроновых шляпах.. Тоже принялся брехать, копейки и рюмки сшибать! Хоть бы стишки свои патриотические читал, а то туда же: «Я! Я! Мы! Мы!» Герои, понимаете ли, отважные воины!.. Да как же тебе, израненному, в военное говно носом натыканному, не стыдно-то?! Как же тебе не совестно?! – Женяру бил кашель, она вскочила и, показывая куда-то в темный угол, пыталась выкрикнуть: – Вот клянусь! Памятью отца клянусь! Дитем нашим клянусь: если ты будешь так себя вести – брошу я тебя! Брошу! И шляпу эту, шляпу.. – она поискала глазами капроновую шляпу, нашла, швырнула на пол и принялась ее топтать, раненно при этом кричала, плакала, закатило кашляла.

Не выдержав такого бунта и суда, Коляша прижал к себе свою Женяру, чувствуя под

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
руками ходуном ходящие от кашля лопатки, ощущал все ее усталое, изношенное до времени тело, успокаивая кашель, гладил по спине русскую, горькую бабу, многотерпеливую жену свою богоданную и, тоже заплакав, под конец беседы дал обещание, что никогда больше, никогда не будет врать про войну и ни за что ее, Женяру, ни на кого не променяет.

Уже поздней ночью, от слез и нервного приступа ослабевая, обласканная, утешенная мужем, уютно лежа на его все еще мускулистой руке, Женяра рассказывала о самом сокровенном:

– Вот ты сперва добивался, но потом, по пьянке и в суете, про все забыл, кто был у меня первый мужчина, и как он был, и что было. И врать не стану, первый ведь первый, а второй есть второй. Привязалась я к тому мужчине и отдалась ему не только потому, что срок пришел и терпения не стало, но и потому, что всю эту тыловую публику он презирал и громил. Из госпиталей, лейтенант пехоты, при орденах, по ошибке, видать, к нам назначен был. Как напьется, а пил он каждый день, так и поидет, и поидет: «Ах вы, тыловые крысы! Ах вы, рожи поганые! Вот вы где присосались! Вот в каком малиннике пасетесь!..» Я хоть в кладовке, хоть в норе своей пыльной копошусь, но все слышу и восхищаюсь! Ездили мы с ним однажды на станцию за поступлениями, завернули в садочек – яблочек потрясти, вкусили плода, как Адам и Ева, ну и... Упекли скоро бунтаря-лейтенанта туда, куда надо, – на передовую. А я, слава Богу, осталась без последствий. Наши коты иной раз в кладовку заглядывали, так я эту погань склизкую шваброй... О-о, Господи! ни молодости, ни цветов, ни свиданий, одни слезы. Девки на сортировке как грянут, бывало, в сотню голосов «Лучинушку» иль «Под окном черемуха колышется...» – я слезами в своем уголке зайдусь. Не раз меня и водой отпаивали, не раз и я отпаивала... И аборт девки сами себе делали – от случайных кавалеров, и срамом занимались, сами себя удовлетворяя. Что тут сделаешь? Природа свое берет. Бог им судья. В цензуре несколько кобыл друг с дружкой грешили, дак сейчас и это не диво. Диво, что фельдшериншко наш с парнем-баянистом жил – при таком-то изобилии мающихся женских тел!.. А мой лейтенант с передовой прислал одно письмо – и отрезало. Пропал, видно, – уж больно бедовый был! – Женяра помолчала, вздохнула и потеряла Коляшу за вихор. – Двое мужчин в моей жизни было, и оба охломоны, – закончила она беседу и, по-детски тонко всхлипнув, уснула.

Коляша же долго еще лежал, не шевелясь, и думал о том, что жену свою он уважает, может, даже любит, да до сего дни как-то не догадывался об этом подумать. Но что жалеет он жену и дальше еще больше будет жалеть, это уж точно, это уж верняк.

Часть третья

ЛУННЫЙ БЛИК

Женяра сообщила, что есть набор на сибирские новостройки и есть места на почте нового района. Пожалуй что, пора им покидать «комнату свиданий» и весь этот уральский рай, да и устраиваться основательно, а то в гнилой общежитке и сами догниют.

И покатила семья Хахалиных с толпами, кучами, стадами на загадочную сибирскую землю. И однажды, стоя у дверей вагона, Коляша объявил жене, что проезжают они его родину, где уж нет никого и ничего – ни родных и ни родного.

В далеком горном краю супруги Хахалины устроились в новом городке гидростроителей работать на почту: она – оператором, он снова экспедитором. Не сразу, но и жильё получили, и зажили той жизнью, какую жили миллионы, сотня миллионов советских граждан, едва сводя концы с концами, из года в год простаивая в очередях за всем, что выкидывали в магазинах для продажи.

После угарного Урала в новом таежном городке здоровье Женяры пошло на поправку, но пристала пора дочери Шурке поступать в институт, в педагогический призвание ее кликало, и начали они готовиться к переезду в краевой центр. А в нем копоты, дыму и каких-то частиц и новых элементов в смеси с радиацией еще больше, чем на Урале. Но... как же! Как же! Дочь мечтает стать педагогом!

Шурочка же призвание свое выявила в иных направлениях – на втором курсе вместо науки обрела брюхо. Взявши хахала Валеру за грудки, родители ее заставили «мастера» сделать их зятем. И вот уже и Шурочка, и Валера-студент, спустившийся с первобытных тувинских гор в центры, в науку, и сынок их Игорь

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
повисли на бедной почтовой зарплате супругов Хахалиных.

Еще в конце пятидесятых годов инвалиду войны Хахалину выршили участок земли, и, если б не участок тот, не свои овощи, – подышать бы с голоду всему этому боевому тунейдному взводу, как называл иждивенцев и нахлебников Николай Иванович. Участок недалеко, в пригороде, и, сначала играя в огород и землю, супруги постепенно втянулись в это дело, вырастили полезные кусты, деревца, построили избушку с печкой, двумя топчанами и столом меж ними, да и привязались ко клочку земли, ими обустроенному.

Угомонился, притих, не егозился, не искал жизненных разнообразий Николай Иванович, хотя чувствовал, что рамка той жизни, в которую он втиснут, тесна, однако люди и к колодкам, и к кандалам привыкали. Рамка, она только шею стесняет, голову же тревожит совсем по другой причине – натура-дура все еще ехать, бежать куда-то зовет. Николай Иванович укрощал себя, сколько мог, но совсем уж немолодым съездил на дали дальние, в святые места, за что и получил новую кличку – монах.

Будучи в очередной раз в госпитале, от праздности и безделья он возьми да и напиши однажды письмо в город Ровно, Гурьяну с Туськой, безо всякой надежды на ответ – времени-то прошло – вечность! Но как совладать с побуждениями безродного человека – искать и найти хоть какую-то родную душу на земле? А ответ-то, бах-трах, через месяц и пришел. Только на конверте, на обратном адресе, значится: Гарпина Тарасовна Гунько.

Чудеса в решете! Откликнулась Гапка, та самая, с которой у Коляши летучий роман заводился. Она сообщала, что Гурьяна с Туськой здесь уже давно нэмае. Гурьян еще много рокив назад поихав на свежее вино до Кишинева да и потерялся. Туся ждала его, ждала и кинулась искать. И нашла – аж на острове Валаама, куда свозили безнадежных калек. Оттуда, с Валаама, Туська сперва присылала письма, интересовалась хозяйством, но потом писать перестала, по-видимому, узнала, что до своих хат начали возвращаться настоящие, по Собиру кое-где уцелевшие хозяева.

И вот еще годы спустя, выйдя на пенсию, покатыл Николай Иванович в Ленинград, оттуда на туристическом теплоходе правиться к Валааму. Если б кто его спросил, зачем и почему он в такую даль едет, резонно ответить старый солдат не сумел бы.

В пути у Николая Ивановича случилось очень загадочное, можно сказать, символическое видение. После того, как туристы перестали бегать друг за дружкой по палубе, на корме отгремела музыка, под которую, кто во что горазд, прыгали, топотили, вихлялись, а которые пары в экстазе почти и совокуплялись, и усталые, разгоряченные танцоры, готовые к ночным схваткам, разбрелись по каютам, Николай Иванович придвинул витое кресло к носовой загородке, наблюдал за природой и думал о жизни. На воде озера, успокоенного, мирно дремлющего, лежало серебристое с краев, в середине медно окислившееся отражение луны. Теплоход все норовил наехать на него, расколоть, раскрошить, но пятно луны легко, играючи откатывалось от почти его достигшего железного плуга, оставляя лишь призрачный, легкой фольгой расстилающийся блик. Не отрываясь, смотрел и смотрел беспокойный человек на эту затейливую игру, и то ему хотелось, прямо-таки нетерпеливо ждалось, чтобы шумящей водой теплоход смял, порезал волшебным сияющим круг, но еще шибче хотелось ему, чтоб вечно так было: широкое, тихое озеро с пятнами островов вдаль, искрящихся огнями. – и там кто-то живет! Вот так бы плыть, плыть, замороженному луной, утихшему в себе, все тревоги позабывшему, себе, только себе и природе принадлежащему, доверчиво ей отдавшемуся. В книгах это называется точным словом – блаженство!

Да разве возможно блаженство там, где есть люди, исчадья эти, советские охламоны, везде со своими уставами, правилами, указаниями – жить, как велено, но не так, как твоей душеньке хочется.

– Гражданин! – тронули Николая Ивановича за плечо. – Отбой был, пора в каюту. Ночью на палубе нельзя.

– Ну почему нельзя-то, почему? Не лунатик я, вина не пил, почти не пил, – поправился Николай Иванович. – На мачту не полезу, за борт не выброшусь.

Он говорил и в то же время смотрел, что там и как с луной-то? И вдруг теплоход наехал, разбил отражение небесного светила. Николай Иванович схватил дежурного



Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
матроса за руку и потащил на корму. Разрезанная пополам, разбитая на куски, смятая луна растерянно качалась за кормой, но, соединяясь воедино, блики, крошки, тени, обиженно моргая, укатывались вдаль, подранком билась поврежденная луна, укрываясь в темень берегов.

– Ты пойми, пойми, что произошло-то! Тут весь смысл нашей проклятой жизни! Мы пришли, чтобы разрушить прекрасное. И выходит что? Ах, как бы тебе, парень, это объяснить. Жалко, понимаешь, жалко все, себя, тебя, людей, это озеро..

– Ну вот, а говорите – не пьяный. Вон какую барабу несете. Идите и проспитесь.

Никем не понятый, Николай Иванович ушел в четырехместную каюту, где попутчики его уже крепко спали и видели, поди-ка, уж четвертый, если не пятый, сон. В бутылке за диваном у Николая Ивановича еще было вино «Ркацители». Он его допил прямо из горла, упал, не сняв пиджака, лицом в подушку и подумал, что зря он едет на Валаам, не найдет он там среди толпы инвалидов своей братвы, не обретет успокоения. И жизнь он прожил зряшную, никчемную: ни шофера, ни отца, ни поэта – ничего-ничего из него не получилось. А ведь сулила же чего-то жизнь-то, манила в даль светлую, ко дням необыкновенным и делам захватывающим звала.

Ну, а Женяра, Шурка, Игорь? Разве этого мало – вырастить, не уморить в Стране Советов, в такое-то время дочь, а потом и внука. Это ж у нас почти подвиг – выжить-то! Но подвиг-то, если по совести, сотворила Женяра. А зачем? Для чего? Для кого? Шурка ушла в люди, чужой стала. Игоря, гляди, так уж скоро в армию заберут, тоже чужим сделают.

Люди вон и на Луну слетали уж, а я все изображаю из себя что-то, рифмую: «клизму – коммунизму», «вперед – зовет»... И в литературные кружки перестал ходить. А ведь в Перми, в заводском кружке иль при Союзе писателей, бывало, как травану насчет лада и склада, традиции русской литературы, настаивая на том, что в стихах главное – идейное содержание, и коли его нет, идейного-то содержания, то и браться за перо незачем... И соглашались – сперва дружно, потом разрозненно, потом спорить начали, потом и насмеяться. А сами-то, сами-то чего пишут? Какую барабу – эх, какое ловкое парень слово-то ввернул – несут? «Гипотенуза тела твоего распростерлась, как лоно луны». «Эрос, склонившийся с небес, тыквы живота твоего катает под тихое рыданье ночи, и слышу я глаза твои, пронзившие беззвучие космоса». Ну чем, чем это лучше стихов одного участника ВОВ: «С насильем нашим не мирюся, с тоталитаризмом крепко бьюся и, если Родина поκληчет со двора, как прежде, в бой пойду я под „ура!“?»

Луна взошла, светла пшеница,  
Чуть золотеет сизый дым.  
Я вновь пришел тебе присниться,  
В цветах, с гармошкой, молодым.

И ни повестки, ни вокзала,  
И смех, и губы не на срок.  
Но ты сама зубами развязала  
Солдатский узел всех дорог...

А я еще на Брянском фронте  
Убит с полротой по весне...  
Под утро спящих вдов не троньте –  
Они целуют нас во сне.

Вот написал же безвестный поэт такое! Долго учился, небось, человек, много читал, обдумывал, страдал душевно и стихи не выдристывал к очередному Великому Празднику – они у него в сердце закипали, в голове отливались, и раскаленные строки бумагу прожигали. Идея, о которой так пекся когда-то начинающий поэт Хахалин, в стихе налицо, без коммунизмы и клизмы. А ведь написано стихотворение в самые худшие годы тоталитаризма и всеобщего оглупения...

«Ах ты, разакты! Кто же это иссосал мою жизнь, как дешевую папироску, и окурок выплюнул. Э-эх, Коляша ты Коляша! Зря, однако, на теплоход погрузился. Роздыху не получил, но, как говорят советские критики, самокопанием занялся».

Грустные думы, ночные картины и вино расслабили Николая Ивановича так, что спал он до самой пристани, монастыря, издали красиво на Валааме глядящегося, не зрел,

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
сразу уперся взглядом в кирпичные, временем, водой и людьми искарябанные, гнилой  
зеленью объятые стены.

Никаких инвалидов на Валааме уже не было. Они, как сказал монах Ефимий, не так  
давно переселены под город Медвежьегорск, который на Беломорканале. Монастырь  
возвращен подлинным его хозяевам, кои потихоньку, с Божьей помощью возвращаются  
в свою поруганную, проматеренную обитель, изгоняют из нее дух мучения и нечисти,  
замаливают людские грехи, ремонтируют помещение и службы.

Отец Ефимий был в монастыре вроде ротного старшины или колхозного бригадира,  
распоряжался хозяйством, наряжал на работу. Отставшего от теплохода Николая  
Ивановича, уже носящего какое-никакое брюшко, тоже впряг в работу, и он, терзая  
больную ногу, таскал носилки с лопью кирпича, мусора, которого инвалидный дом  
нагромоздил на острове целые курганы и не все в этих курганах давалось огню.

Ночами отец Ефимий учил Николая Ивановича молиться, потому как из-за своей  
пролетарской сути он не умел и лба перекрестить, не знал ни одной молитвы.  
Стоять на коленях, да еще на одном, было утомительно, болели кости, ломило  
спину. Но мучения эти были не то что сладки, они утешающи были и происходили в  
каком-то другом человеке, о котором Николай Иванович и не подозревал, что он  
находится в середине сердца. Главное – покой, вкрадчивый, врачующий покой посетил  
душу Николая Ивановича, и он с каким-то слезливым чувством повторял за отцом  
Ефимием: «Огради мя, Господи, силою честного и животворящего креста и сохрани  
нас от всякого зла».

Молитвы были складны, легко запоминались, это тебе не вирши про Кремль, про  
Сталина и про партию – их он перечитал целый вагон и сам насоставлял – собрать,  
так толстый том получится. Молитвы, говорил отец Ефимий, сотворены с Божьей  
помощью святыми мучениками и отшельниками, не гонялись они за славой, не ставили  
имен под своими творениями. «И гонорару не требовали!» – подхватил сшибатель  
стихотворных рублишек по газетам и многотиражкам.

Питались монахи постно, не изобильно: рыбкой, которую бреднем вытаскивали из  
озера, обрезаясь об шипучую и острую осоку. Тут поэт-стихотворец услышал  
редкостное по точности слово – «мудорез» – монахи-то бродили в осоке без штанов.  
Картошечка с постным маслом, свекла, морковка и много капусты. Монахи, и  
молодые, и старые, были все поджары, туго запряжены по дамским талиям, не  
курили, не пили, разве что квас. Брюшко Николая Ивановича скоро опало, начал он  
втягиваться в тихую, трудом наполненную жизнь. Но однажды, когда причалил к  
Валааму теплоход с туристами, торопливо засобирался.

– Семья у меня, дети. Так что спасибо за приют и ласку, – и, потупившись,  
признался отцу Ефимию: – Нет, отче, такая жизнь не для меня. Я уж, как и многие  
советские граждане, развращен, разбалован нищенской вольностью, привык мало  
работать и мало получать. Молитесь уж не за нас, за детей наших – может, хоть  
они спасутся от этой блудной и распаскудной жизни...

На прощанье Николай Иванович поцеловал крест на груди и руку монаха. Отец Ефимий  
перекрестил его вслед.

Всю дорогу держался Николай Иванович, не пил, крестился прежде, чем приняться за  
трапезу, дома заявил, что чуть было не сделался монахом, едва не остался на  
острове Валааме навсегда – служить Господу нашему. Он приобрел в Покровской  
церкви икону Святой Богородицы, напечатанную на бумаге, за десять рублей,  
крестился на нее перед обедом и отходя ко сну.

Домашние ухмылялись, не верили в его святость.

– Не срамотил бы, блядун и пьяница, молитвы-то, не гневил бы Господа – он и без  
того на нас, российских, давно сердитый... – пеняла Женяра мужу.

На что Николай Иванович, сторожась, отвечал:

– Не веруешь – не надо! Другим же веровать и душу очищать не мешай! – и строго,  
видать, кому-то из монахов подражая, поджимал губы, седой щетиной обметанные, –  
бритва у него была электрическая, киргизского производства, она шибко шумела, но  
не брала волос под корень.

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

Умерла теща, Анна Меркуловна. Ехали на далекую Вишеру долго, канительно, едва к выносу тела успели. В доме хозяйничал все тот же хваткий чугрей, и при нем была молчаливая, но все видящая женщина, якобы родственница, управлявшаяся по хозяйству, довольно уже обширному. На нем-то, на хозяйстве этом, надорвалась Анна Меркуловна, которую, сказывали соседи, постоялец крепко поколачивал. Он ее, ослабевшую духом и телом, и забил-таки до смерти. Откупаясь от загребущего постояльца, вдова Белоусова переписала на него хозяйство, счет в сберкассе, все, кроме дома, – боялась женщина, догадывались дочь с зятем, что большую он мог и выбросить из дома.

Хотели супруги Хахалины дожить до девяти дней кончины матери и отвести поминки, но взматерелый, грузный, с облезшей головой поселенец, глядя медведем из-под костлявого лба, сказал:

– Чего до дому не идэте?

– А ты чего до дому не идешь? Чего тут присосался? Боишься, что на родной стороне кишки выпустят за делишки твои прошлые? – взвелась женяра.

– Мэни и здесь добрэ. Ничого тут вашего нэмае! Вымэтайтэсь!

– Плати за дом, и мы плюнем тебе в обмороженные глаза и уедем.

– Скики?

И Женяра назвала, для нее, почтового работника, получавшего сто десять рублей и перед пенсией перевалившего за сто сорок, немислимую сумму – три тысячи рублей, – ровно столько, сколько не хватало дочери и зятю, копившим на «жигули».

– Обрадовала ты бендеровца, обрадовала! Он-то думал, тысяч двадцать сдерешь! – сказал Николай Иванович жене уже в вагоне.

Вообще-то он за все дни пребывания в Красновишерске рта не открыл. Вошло уже в привычку: когда тихая с виду жена гневалась и выпаливала скопившийся заряд – супруг должен был терпеть и молчать.

– Чего ж ты промолчал, такой находчивый и смелый?

– А чего тут скажешь? Тут, как интеллигентно выразился гениальный пролетарский поэт, должен разговаривать товарищ маузер! А я, как ты знаешь, насчет маузеров и прочего ныне воздерживаюсь.

Женяра знала, что он терпеть не мог пролетарского поэта, особенно в последнее время.

Когда вышел на пенсию Николай Иванович и появилась у него прорва свободного времени, он чаще стал ходить в библиотеку, приобщался к серьезному чтению, и, чем больше он приобщался, тем отстраненней от слова трескучего и дешевого себя чувствовал – прочирикал дар свой маленький, за фук отдал, играя в поэтические пешки, искал легкой жизни и в поэзии, не задумываясь над тем, что большинство гениальных поэтов рано умирали, перекаливая свою жизнь, сжигая ее в пламени, самими же возженном, или были перебиты за дерзость, за честь, за ум и талант черными завистниками, обделенными Создателем талантом и разумом.

Более других его много лет назад потрясла преждевременная смерть Николая Рубцова, стихи которого он не только читал, запоминал, но и пел под гармошку, изобретая собственный мотив. Не без ехидства, с целью уязвления Коляша сказал Женяре: поэта Рубцова руками задушила женщина.

– Женщина! Понимаешь?!

– Да как не понять? – отозвалась женяра. – Если б ты знал да ведал, сколько раз мне хотелось тебя удавить... – и, помолчав, добавила со вздохом: – Видать, и в самом деле есть Бог. Уберег он меня от этого тяжкого греха.

Коляша Хахалин, стихоплет и плут, под видом библиотеки ходил в те поры на вечера «Кому за пятьдесят» и, выдав себя за горького вдовца, обгулял там парочку еще годных в дело бабенок. Однако со временем всякие походы «на сторону» и любого

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
рода отклонения прекратил, весь отдавшись созданию личного земного рая на загородном участке. Наезжавшая на участок в неурочный час, иногда и в ночной – чтобы захватить супруга с какой-нибудь ухажеркой в отдельной-то избушке, – Женя с годами ревнивые подозрения отбросила. Коляша, вечный пролетарий, детдомовщина, неумеха, так заболел землей и так на ней устряпывался, что не только про баб, но и про поэзию думать сил у него не хватало.

Но вот вырос и начал плодоносить сад с кедром, огород рожал, как у некоторых земледельцев – героев соцтруда, плодovито. Ослабла трудовая повинность, самому себе назначенная, снова появилось время на раздумья, бессонницы подступили снова, и снова Николай Иванович задавал себе вопрос, отчего, почему не сложилась его жизнь, как он хотел бы ее сложить или так, как назначил Создатель? Отчего он уподобился тем, кто, съевши пять эшелонов харчей и выделив эшелон дерьма, исчерпывали тем самым явление свое на свет, сами становясь удобрением? «А вы на земле проживете, как черви слепые живут, ни сказок о вас не расскажут, ни песен о вас не споют». Кто-то должен быть в этом виноват? Кто-то и ответить за это должен...

Серьезные книги давали ответ уклончивый, часто путаный, серьезные писатели-мыслители, прежде всего величайший смутьян Лев Толстой, – сами мучались теми же вопросами, какие почти столетие спустя, на другом конце России дожимали хромого инвалида войны Николая Ивановича Хахалина.

Тогда-то и пошел он искать ответа и виноватых на сборище недобитых, снова в банды собирающихся большевичков – эти всегда знали на все ответы, и путь в светлое будущее всегда был им ясен: перемоги себя, растопчи ближнего своего, наступи сапогом на хрустящую его грудь и спокойно, гордо следуй дальше – великая цель всеобщего счастья человечества оправдывает любые средства, любые жертвы...

Так было, такая мораль торжествовала. Но все переменялось, все подверглось сомнению, и, если бывшие партократы неистовствуют, борются, значит, перед ними открылись новые цели, появился более ясный и прямой путь в будущее – по кривому-то они уже шли.

Нет, ничего не переменялось, лишь сделалось явным, дозволенно изрекалось – отомстить всем, кто валил или молчанием и терпеливостью своей помогал валить идею коммунизма, кто оттер в сторону сытых борцов за правое дело.

Нестриженная, с бантами и флагами кучка век доживающих борцов копошилась возле пьедестала огромного каменного изваяния Ленину, который на самом деле был карликом и о котором Бунин – волшебник русского слова, никого не страшась, в удушливые смертные годы писал: «Маленький, картавый, нерусский, с недолеченным сифилисом».

Шустрый малый с раздвоенным ликом: сверху – крыса, ко крысе подставлен зад сытой хохлушки, – по фамилии Кащенко под ручку помогал взгромоздиться на камень очередному мятежному оратору, который снова звал народ русский ко крови, поносил режим, современных палачей, брызгая натуральной слюной.

«Э-э, пареваны-большевики! Э-э, товарищ Кащенко! При режиме вы бы уже давно с вырванными языками лес валили в глуби здешней тайги...»

Малый этот беспробудно пил в молодости, валялся на улицах, под забором, должно быть, по этой причине остался он при пионерском теле, и вот приросла, прикрепилась крысино-хохлацкая морда к фигуре недоноска, не прощающего человечеству пропитую юность и молодость, мстящего всем за то, что его, как и весь русский народ, спаивали.

Но вот метнулся угодник-шестерка в гущу толпящегося, потрясающего кровавыми знаменами сборища, среди которого было две примелькавшиеся стервятницы и один стервятник с гармошкой, по найму шныряющих по разного рода сборищам, мелькали они даже и в столичной хронике, да и остальной народ лицами был мучительно знаком старому солдату, – вдруг ударило по башке: «Да в конвойном ровенском полку я их всех видел, рожи-то у падали этой везде и всюду совершенно одинаковые!»

Кащенко влек под локоток лошадеподобного, с лошадиной же отвислой губой, местного вождя народов – Рванова, негромко, но внятно повторяя: «Дорогу будущему

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru) президенту! Дорогу будущему президенту!» – и вышиб два-три аплодисмента из негустой толпы. Рванов – типичный советский проходимец, плод той системы, созданию которой он способствовал и небескорыстно служил. Будучи директором крупного комбината, отравляя небо, воду, землю газами, химией и всякой иной заразой, морил детей, десятки лет гнал военную продукцию устарелых моделей, разорял государство и народ, конечно же, не зная, что творит, выпускает халтуру, зато есть работа, зарплата подходящая по сравнению с «мирной» зарплатой остальных сограждан. Сам голова сделался генералом, академиком, от самонадеянной тупости выдал он народу книгу под названием: «Я – Рванов». Самодержец всея Руси писал – «мы», а этот вот сразу «я». Дела на его заводе, морально и материально устарелом, шли ко краху, и прохода этот вместо того, чтобы покаяться вместе с партией, его и крах этот породившей, доказывает с помощью блудного пера таких шестерок, как Кашенко, что было все хорошо, и его предприятие до ручки за несколько лет довели демократы, и ничего ему не остается, как по наказу народа идти вверх и наводить там порядок. По-за трибуной, среди своих Рванов, правда, талдычит, что миллионов десять – двенадцать рабочего скота придется пустить «под жернова», зато уж остальной народ достигнет наконец блаженных берегов с надписью: «Светлое будущее».

Следом за Рвановым грузно и грозно шагал еще один защитник русского народа, с подходящей фамилией – Фурчик. Этот занимал когда-то высокий пост в местных партийных сферах и не мог никому простить, что в одночасье его лишился.

Никто из этой троицы не имел ни ума, ни талантов никаких, они даже гвоздя забить не умели и по этой причине могли только руководить, а для них руководить – значит говорить. Вот и говорили, не разумея смысла, гремели голосом и звали народ теперь уж к светлому прошлому, не понимая даже такой малости, что «в обратный отправившись путь, все равно не вернешься обратно», что, роя яму для других, как правило, ее копатели угадывали туда если не первыми, то в очередной шеренге.

Сколько Коляша видел снимков убиц возле убитых, особенно немецких солдат возле трупов русских. Страшно! Но Коляша ни разу не видел снимков: русских возле убитых ими врагов. Больше того, за время пребывания на фронте не помнил он, чтобы кто-то из наших изъявил желание сфотографироваться возле убитых. Правда, и фотоаппаратов у русских не было, но при желании чего нельзя сделать? А желания-то ни у кого и не возникло. Помнил он несколько случаев, и себя тоже, когда солдатам хотелось взглянуть на того, кого они убили или предполагали, что убили, и на всех такая «встреча» производила гнетущее впечатление. Какое все-таки тяжелое дело – убивать! А любоваться убийством, позировать – это уж верх всякого бездушия или безумия. Но эти вот, что громоздятся на пьедестале памятника самого страшного убийцы двадцатого века, смутьяна и безбожника, – эти могут, эти убьют, и ногу поставят на грудь поверженного, и будут позировать, ибо зло, взлелеянное большевиками, взматерело, укрепилось, сделалось безглазо и совсем бессердечно.

И вот сюда, к этому сброду, подался бывший солдат, инвалид войны – за утешением. Ай-яй-яй, Николай Иванович, Николай Иванович! Сам же ведь сочинил когда-то: «Поэтом можешь ты не быть, но и свиньей быть не обязан».

Пошел, поковылял Николай Иванович с площади и вдруг почувствовал, как продевается рука под его локоть. Рядом шагал Гринберг Моисей Борисович, вечный его спутник по госпиталям. Ну, что да как, да какими судьбами здесь, в Сибири? Дочка с семьей, оказывается, здесь. В санэпиднадзоре трудится, зять в торговой сети. Внучка уже местный институт культуры заканчивает, внук – ловелас, на шее матери с отцом сидит, делает вид, что в университете учится, на самом же деле к чернорубашечникам примкнул и борется за освобождение русского народа из-под ига демократов.

Они зашли в дорогое кафе под названием «Марианна» при городском парке и выпили дорогой иностранной водки под названием «Горбачев». Перед тем, как выпить первую, Николай Иванович снял шляпу, поискал нужный угол и перекрестился, чем потряс Моисея Борисовича. Махнули по второй, Моисей Борисович постучал по бутылке ногтем:

– Ирония судьбы: борец с алкоголизмом и коммунизмом удостоился такой вот боевой памяти, – и, опустив глаза долу, добавил: – А что крестишься, Николай Иванович, – одобряю. Надо ж кому-то и наши грехи замаливать.

Николай Иванович читал: водку «Горбачев» производил русский купец по фамилии Горбачев, сейчас она варится в одном лишь месте – в Берлине, но насчет иронии судьбы возражать не стал – уж чего-чего, иронии на Руси всегда было достаточно.

Старые вояки допили бутылку. Их изрядно развезло, и они, поддерживая друг дружку, вышли на улицу. На площади ораторов уже не было, но от памятника, изваянного скульптором Пинчуком, разносилась песня: «Смело мы в бой пойдем за власть советов и как один умрем...»

– Снова умирать зовут, но когда-то ж надо и жить?..

– Нам от коммунистов, фашистов деваться некуда, но тебе, Моисей Борисович, детям твоим и внукам можно в Израиль податься.

Гринберг, видно, много уж думал над данным вопросом, потому и ответил без промедления, резко:

– Где он, тот Израиль? И шо я там потерял? Я, – Моисей Борисович постучал каблуком в криво налитый, как бы черными коростами покрытый асфальт, – я на этой земле произошел на свет и в ней покоиться буду. Дети ж и внуки пусть сами решают свои задачи. Хватит-таки, что их за нас все время уверху решали...

Где-то, что-то они еще добавляли. Гринберг Моисей Борисович был менее, чем Николай Иванович, разрушен, может, по еврейской натуре хитрил, не допивал до дна, но товарища по войне не бросил, доставил домой.

– Экие красавцы! – всплеснула руками Женяра и домой Гринберга не отпустила, бегала к соседям, звонила, чтоб дети и внуки не теряли отца и деда, беседовала с фронтовиками, которые в пьяном виде смотрели телевизор и матерно комментировали происходящее на экране.

За папой, Моисеем Борисовичем, утром приехала все еще моложавая, но уже усатая дочь по имени Эра. Посмотрев пристально на едва живых ветеранов, она принесла из машины шкалик коньяку, два «сникерса» и, понаблюдав, как трудно опохмеляются, мучительно встают к жизни престарелые вояки, потягивая сигарету, криво усмехнулась:

– Пили бы уж лучше мочу.

Ох, ох, ехидная дамочка, не забыла ведь, напомнила о давнем, еще на пермской стороне происходившем увлечении госпитальников. Где-то они прослышали о чудодейственном свойстве мочи и принялись ее хлестать пуще, чем водку, надеясь выздороветь, омолодиться и дать еще дрозда в этой жизни. Инвалиды и ветераны войны время от времени поддавались психозу самолечения и то употребляли где-то дорого купленное мумие, которое часто оказывалось обыкновенной смолой, то, потя и прея, пили травы с медом, непременно собранным с донника, то гонялись сами, но чаще гоняли жен и детей за маральим корнем иль вываренной жидкостью из оленьих пантов. И дело кончилось тем, что дошли до мочи. Главный врач госпиталя, все уже чудачества и увлечения своих пациентов перетерпевший, зная, что ему не побороть их: нет на земле упрямей и психоватей инвалидишек этих, – печально говорил опившимся мочой и сплошь запивающим ее водкой или самогоном:

– Вы уж хоть не свою мочу-то пейте. У вас же вся требуха гнилая и перетряхнутая. Берите хоть у детей, что ли.

Эркина моча тоже бывала в ходу, она сама ее и заносила по пути в школу. Моисей Борисович, по-братски смеясь, говорил, чтоб не экономили лекарства – дочь у него зассыха. И вот бывшая зассыха, под зэка стриженная, за рулем автомобиля, в плотно ее фигуру облегающем свитерке, кожаная куртка на ней с молниями, желтыми нитками простроченная, сигаркой дымит, над стариками насмехается.

– О-ох-хо-хо-о-о-о! Время, время! – обнялись на прощанье заслуженные люди. Что-то бесконечно горькое, даже пространственно-печальное было в расставании двух погулявших стариков, может, уж и чувствовали они, что могут на этом свете более и не встретиться... Женяра банку маринованных огурцов и малинового варенья банку в Эркину машину сунула. Интеллигенция ж. Все с базару да втридорога. А тут плоды со своего участка. Эрка не покичилась, поблагодарила за подарки.

И вот лежит Николай Иванович в своей хорошо натопленной избушке. Под шорох дождя за окном, кустов шептанье пытается уснуть.

Днем приезжала Женяра, помогала прибраться на зиму – сгребали листья, ботву и всякий мусор. Дымно горела куча на меже огорода. Она и сейчас, под дождиком, еще сочится изморным, белесо во тьме плавающим дымом, и что-то тлеющее в куче время от времени воспрынет, займется качающимся огоньком, попрыгает петушком и западет в кучу, спрячется.

«Так вот и наша теперешняя жизнь дотлевет, – справляя малую нужду в кусты крыжовника, меланхолично размышлял бывший солдат, слушая, как за дверью, возле печки покашливает Женяра. – Говорил, к костру не лезь – дыму много, а она в ответ: „Я так люблю осенний костерок, и осень люблю, и все это“. – А вокруг в недвижимом воздухе плавали, стелились над огородами дымы, тихое солнце покоилось над дальними горами и лесом, словно не хотело оно закатываться, жаль ему было покидать эту землю и людей, так ему радующихся весной, летом, даже осенью этой, покойной и прозрачной. „Не хочу, не хочу, чтоб Женяра умирала... раньше меня... не могу я без нее. Господи, внемли, не отвори лика своего от нас. Я, как капусту срубим и увезем, схожу в церковь, помолюсь, свечу поставлю... Я еще не забыл монастырь и молитвы... Господи!..“

Управившись в огороде и вокруг избушки, супруги Хахалины в две руки сняли с плиты бак с горячей водой, здесь же, в избушке, у порожка обмылись в детской ванночке. Обтирая супруга. Женяра как бы нечаянно тренькнула рукой по его сморщенному органу:

– Сникнул боец, устал сражаться с нашим братом. Николай Иванович со снисхождением усмехнулся:

– Он, как нонешний необольшевик, воспрынет, когда надо.

– Да уж, – ободряюще хмыкнула Женяра и достала плоскую бутылку с иностранным вином-настойкой из по-иностранному же расписанной холщовой сумки.

Николай Иванович повертел бутылку, по фасону напоминающую ту посудину, в какой на фронте изредка выдавали мазь от вшей, и вообще прежде содержали в такой посудине разную смертельную химию, не смешивая ее с другими сосудами, совсем иного, пользительного, направления. Он, конечно же, сразу догадался: бутылка эта – презент от зятя.

Дождавшись, когда муж размякнет от заморского вина, Женяра снова заведет разговор о продаже главного их богатства – этого загородного участка с синеньким домиком-конурой.

Зять – парняга, sprыснувший из горячего цеха алюминиевого завода и занявшийся коммерцией, сперва перекупал в издательствах книги, с добавкой развозил их в «Жигулях» по районам, к поездкам и на разные сборища, ныне подсел: народ, какой побогаче, насытился книгой, народ, которому не до книг, сам торгует по улицам чем попададя и ворует, где чего возможно украсть. Зять, на лице которого сыпь от былых прыщей, словно от пороха, малосообразительный, туповатый, развернуться средь делег не смог, опустил до жалкого челнока, занялся перепродажей разной мелочевки, но замашки менялы-толкача обрел. Охота ему сменить «Жигули» на хотя бы подержанный «мерседес» и на нем въехать в компанию крутых парней. Вот он через тещу и действует, напиток бодрящий шлет.

Николай Иванович к старости стал со всем согласный, потому как кругом и во всем виноватый. Но с участком уперся, намертво встал на этом рубеже старый солдат. «Если тебе, – говорил он Женяре, – с твоими дряхлыми легкими не терпится пожить на кухне у зятя с дочерью и поспать на драной раскладушке – действуй! Но только после того, как снесешь меня на кладбище и закопаешь так глубоко, что я не смогу вылезть – тебя пожалеть...»

Николай Иванович решительно отставил дорогую бутылку, опустил на карачки и выкатил из-под своего топчана алюминиевую лагуху с настойкой, каковую местные дачники-инвалиды и просто зрелые умом люди навострились варить из ягод и дрожжей так, что итальянскому «Амаретто» иль молдавской «Фетяске» умолкнуть надобно и не вонять на русской земле. Женяра собирала на стол, искоса наблюдала за мужем и ни

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru) в чем ему пока не перечила. Молча стукнулись кружками, отхлебнули напитка, который шибал не только в нос, но и во все отверстия, какие имеются на теле человека, пронзал тело бодрящей свежестью, сминал организм, крадучись, подползая к голове, трогал и мучил разуменье человеческое, расшевеливал его на шалости.

Когда выпили по второй, по третьей и неторопливая, благостная трапеза подходила к концу, Женяра сказала, кивая на иностранную бутылку:

– Может, потом, ночесь захочется, так ты эту иностранную мочу и выпьешь.

По голосу жены Николай Иванович угадал, что сегодня она не будет допекать его просьбами насчет продажи участка и расстанутся они мирно. Он останется до морозцев на посту – караулить капусту – срубает ночами бичи и проходимцы всякие овощ, хозяйка же поедет домой – доглядывать Игоря, который учиться не хочет, но чуть родители отдалятся, зазывает девок в квартиру, который магнитофонишко, и чего они там одни-то делают – поиди угадай. Здоровенный оболтус, а на огород не загонишь, прибраться в доме не заставишь. Все стены над кроватью его украшены в чулки лишь одетыми девками, немца Шварценеггера меж них поместил внучоночек. Значит: дед бил немца, бил и добил, внучек из него идола сделал...

Вычитав о том, что у Николая Рубцова был любимым поэтом Тютчев, Николай Иванович добыл однотомник давнего поэта и навсегда влюбился в стихи, чеканные, мелодичные и такими чувствами наполненные, что и объяснить невозможно. Иногда он баловал Женяру, читал ей вслух.

– «Вот бреду я вдоль большой дороги, – закинув руки за голову, наизусть читал самое любимое стихотворение жены Николай Иванович. – В тихом свете гаснущего дня... Тяжело мне, замирают ноги... Друг мой милый, видишь ли меня? Все темней, темнее над землею – улетел последний отблеск дня... Вот тот мир, где жили мы с тобою... Ангел мой, ты видишь ли меня? Завтра день молитвы и печали, завтра память рокового дня... Ангел мой, где б души ни витали, ангел мой, ты видишь ли меня?»

Лежали порознь на топчанах. Молчали. И осень по-за окном, молчаливая, вздыхала последним теплом, сеялись листья со старой белоплодной ранетки. Когда-то успела состариться и она. Николай Иванович хотел нынче выкорчевать ее – свету бы в избушке больше сделалось. Копнул, а корень-то у деревца еще крепкий, лишь сверху гнилью тронутый. Пожелел яблоньку хозяин. И правильно сделал – она вон своедельному вину-то ароматище и крепость такие придает. Козырем кроет всю остальную мелкоту. Листья реют за окном, последние листья нынешней осени. А весной как белоплодка зацветет – какими запахами она окрестность омывает!

– И чего ты стишки забросил? Может, тоже до жалостной какой души достучался бы, – тихо молвила со своего топчана Женяра и, не дождавшись ответа, добавила: – Зять-то, Веня-то, твои стихи хвалил.

«Не обошлось все же без зятя любимого, – сморщился Николай Иванович. – Они: дочь, зять, жена, действуя союзом, решили доконать хозяина. На поэзии!»

Пошла мода издавать книжки за свой счет. И вечно начинающего поэта Хахалина решили свалить: продать дачный участок и издать за половину денег стихи, а вторую половину пустить на «мерседес». Да Николай Иванович, может, с годами и не помудрел, зато окреп характером. Собрал газетные и альманашные вырезки, прочел старые блокнотики и впал в полное удручение: отдельные строчки, даже стишата, если их подладить, посидеть над ними, – можно читать в домашней обстановке, но лучше – в пьяной компании. Однако на люди выносить это лежалое, затасканное добро?..

Чтобы все же не сразу признать свой творческий крах, Николай Иванович накупил бледно и бедно изданные сборнички, чаще всего печатаемые в районных типографиях. Из глубин ящиков столов не было вынута по Сибири ничего, что залежалось потому, что не понято, не принято временем и цензурой из-за сверхгениальности продукции, не пускаемой в «столицы». Из кухонных столов и домашних заглазников вынута все и всех повторяющая стихоплетия районного масштаба, в которой воспевались березки, цветы-незабудки, чаще же всего слышался чуть внятный лепет по покинутой родной деревне, тоска по сгнившему крыльцу, поросшему травой, которого касалась когда-то детская босая ножка. Убогая поэтическая, сама себя выпестовшая, на всех и на все обиженная глухая провинция прилюдно обнажилась, показывая рахитные ноги, винтом завязанный патриотический пуп на вздутом от картошки животе.



Тем бы и утешился Николай Иванович, но попади же ему в столичном журнале обзор книжек, тоже изданных за свой счет там, в пространной святой Руси. У «них» – усек он – не одна мелкотравчатая дребедень выходит из-под оттесненного на обочину потока литературы. «И на развернутом, на звездном свитке надмирные мерцали письмена». «Как скоро минет ночь, из поллитровки брызнет рекой народный стон, и зашумит камыш. Иль это глотку жжет зарю новой жизни, или в углу скребет о чем-то скорбном мышь...» «Толклись вчера, бегут сегодня – соревновательная власть – в иссохшую ладонь Господню всадить по шляпку медный гвоздь...»

Доконал Николая Ивановича, довел до мысли не продавать участок ради какой-то, никому не нужной книжки такой вот распростецкий стих: «Сына взяли, и мать больная. В комнате солнечной темно, а на улице праздник – Первое мая. Вождем завесили ей окно». Вот чтобы написать насчет окна, которое завесили вождем, надо и жизнь прожить другую, и, пожалуй что, другим и родиться.

В Перми знавал он двоих шалопаев, пьют, девок пикорчат, шляются и каждые два года выпускают по сборнику стихов. В здешнем издательстве, а то в столичном, и каких стихов! Он завидовал им, поносил, где можно. Но вот дозрел понять, что шалопаи – шалопаями, а поэзия от кустюма и примерного поведения мало зависит.

Николай Иванович растопил своими стихами печку, оставив лишь одно, недавно как-то само собой сложившееся: «Ах ты, Женя-Женяра, жена дорогая, мы на свете вдвоем, больше нет никого. Наша жизнь изошла, наша жизнь догорает, дыма нет, и уголья в печи дотлевают давно. Пусть на сердце печально, но кругом так светло. Ради этого света, ради доброй печали прошагали мы жизнь, не скопивши добра. Ну и что? Мы такое с тобой повидали, что за нами, дай Бог свету светлого детям, столько ж в сердце печали, столько ж в доме добра!..»

Женяра увидела лист на столе, шевеля губами, прочла и тихо заплакала. «Ну вот, мне и самый дорогой гонорар! Его даже не пропьешь...» – вздохнул Николай Иванович.

Женяра искренне, как всегда, вздыхала: нужда, дети, жизнь нищенская, инвалидная не позволили учиться, развиваться и сделаться поэтом ее мужу. Ох, Женяра, Женяра! Святая и добрая душа! Не запомнила она стих, который, тыкая пальцем в изболелую ее грудь, орал стихоплет Хахалин давно еще, в Перми: «Не верь, не верь поэту, дева, его своим ты не зови. И пуще пламенного гнева страшишь поэ-товой любви...»

Столик был прикреплен к стене укосинами. Николай Иванович просунул руку меж укосин и столешницей, тронул мягкие волосы жены – к старости они еще пушистей стали – тоже, видать, вянут. Женяра прижалась щекой к руке мужа и не стала больше ничего говорить. Да и куда деваться-то? Век, худо ли, хорошо ли, изжили, роднее родных сделалась. Супруг иной раз еще потянет за рубашку жену к себе, она, хоть и ткнет его локтем: «Когда на тебя и уем будет?!» – переберется к нему и, если драгоценный внучек Игорь не доведет и по дому не устряпается, приступ астмы не мучает, – куда тебе, с добром рассамоварится, распыщется, хоть и северных кровей, но южанкам в страсти не уступит. В простое молодость провела, потом аборт замучили, ныне только и поиметь бы удовольствие, но отчего-то после каждого «сиянца», как называет это дело сосед по даче Костя Босых, с годами как-то не по себе делается, неловкость накатывает – ровно бы с родной он матерью грех поимел... «Муж жену береги, как трубу на бане!» – вроде вот нелепая поговорка, а коль к месту, так и в самый раз.

Дождь на дворе расходился, четко било каплями в заплату из жести – починял телеантенну, искрошил лист шифера и залатал дыру, разрезав и распрямив старое жестяное ведро, – где шиферу-то взять и на что – все уходит на немощную семью дочери, которая и ликом, и ухватками удалась в покойную бабку, Анну Меркуловну, царство ей небесное, задрыге. Себе от двух пенсий супруги Хахалины оставляют на хлеб, на сахар да на постное масло, на молочное не стало сходиться. Дорожает жизнь. И чем больше и скорее дорожает, тем шибче отчуждение. Люди, разодетые в иностранное, дети, как попугайчики. От машин иностранных и ларьков с товарами в городе не протолкнуться. И все злей, все неистовей, все вороватей делаются российские люди. Капусту в сорок шестом и в сорок седьмом охраняли? Да в те полуголодные годы и в голову никому не приходило унести ее с поля, разве что колхозную, по пути если. А тут рассаду с полей воруют, картошку выкапывают, скот режут и увозят. Приходится охранять стада отрядом с карабинами. И ведь что интересно. Осень – золотая, урожайное лето замыкающая, в двух районах картофель в полях остался. В газете объявление: берите, копайте за так. Некоторые поля

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru) даже комбайном подкопали – собирай. И что же? Толпы хлынули на тучные поля богатых ассоциаций?! Хера! Толпы на вокзалах и на базаре барахлом трясут, ворованной капустой торгуют, ягодами втридорога. Да взять того же внука, Игоря, бабкой вконец избалованного. Он что, пойдет картошку в полях собирать? Да он скорее пристукнет кого-нибудь, оберет в узком месте...

Кап, кап, кап – бьет дождем в жезь. Вот и над крыльцом тесина шевельнулась – гвоздь расшатался, не забыть бы завтра прибить – заснуть мешает, кажется, кто-то ходит, за капустой крадется...

Надо бы подняться, участок обойти, покашлять. Ай да аллах с ней, с капустой, и со всем этим хозяйством. Все равно Женяра после смерти мужа подарит эту виллу детям, те, ветрогоны, продадут участок богачам. Богачи снесут избушку либо временное отхожее место в ней сделают, обезьянничая, возведут что-то похожее на иностранную хоромину. Но главное – срубят кедр, а он такой молодец, такой пышный, такой бобер в шерсти! Лет через пять-семь шишки выдаст!.. Да не дожить уж садовнику до своего ореха, не дотянуть...

Ныла раненая нога, и он все искал ей место. Вот, кажется, угнезвился, в мягкое, в теплое костью попал, боится пошевелиться. Ладно, нога ранена, кость разбитая почти всю послевоенную пору гнила, усохла нога, кость проело, в воронке черный паук паутину свил из фиолетовых и багровых жилок. Царапины, раны, ушибы, которых за жизнь накопилось лишковато, болят, зубы посыпались, лечить, сверлить, горечь всякую глотать приходится. Но еще ничего, еще в меру, да в норму – так и винца дернет своего, водочки с друзьями или с зятем этим наглым и хватким по праздникам пузырек раздавит.

Бутылку ту, иностранную, после отбытия Женяры с последним автобусом домой он почти прикончил. Расслабило, рассолодило человека, думал, сразу и уснет, ан там брякнет, тут стукнет, капли в жезь бьют, яблочко остатное покатило по крыше, в стекло приветно ткнуло. Ладно, если яблочко. Но коли птичка – она, говорят, к смерти в окно людское стучится...

В мороси и ветоши туманной дремоты-полусна Николая Ивановича чаще других мучило видение: фашисты снова в России, дошли до Урала, и их медленно оттуда прогоняют. И вот рубеж, с которого коляша начал воевать. Ему тяжело думать оттого, что он знает все про войну, – как долго, как трудно изгонять зарвавшегося чужеземца. Весна зеленую сочится, птицы от песен изнемогают, мирные поля, леса, а в небе взрывы. За Окой котлован, и чувствует он – в крепком этом котловане засели они, и надо их долго гнать, далеко гнать, снова гнать...

Все же хорошо расположен участок Хахалиных. Женяра воды из речки принесла, успела почти засветло уехать, чтоб тот кавалер не разгулялся шибко в квартире. Главное достоинство старых участков – это речка Грамотушка, текущая среди садов. Раньше, говорят, в ней водился пескарь, гольян, даже харюзок попадался. А сейчас Грамотушка летами едва на поливку накапливает воды. И только вспомнил Николай Иванович про речку, только мысленно ее узрел, как всплыло: «Село стоит на правом берегу, а кладбище – на левом берегу. И самый грустный все же и нелепый вот этот путь, венчающий борьбу и все на свете, – с правого на левый, среди цветов в обыденном гробу...»

Кап, кап, кап, гынь, гынь, гынь – поет мотор машины, вьется фронтальная дорога, растянувшаяся на всю жизнь...

Нет, видно, с ходу не уснуть, и выпивка не помогает, и припоздалое общение с женой не ко здравью и успокоению. Тоже вот противоречие: в молодости, за рулем так и долило сном, хоть спички в глаза вставляй, а ныне не спится, мается товарищ Хахалин...

Что же, что же еще-то помогает, кроме дороги-то и звука ноющего мотора? Отбыть, уехать, уплыть в беззвучный, беспокойный старческий сон. А-а, поэзия, стихи: то они баламутят, то в умиление ввергают, то мечтательность навевают, с той мечтательностью нисходит на человека благодатный сон.

«Улетели листья с тополей, повторилась в мире неизбежность. Не жалею ты листья, не жалею, а жалею любовь мою и нежность...» – как трогательно-то, как складно!.. За что же дура-баба удавила мужика, приземлила поэта на самом взлете? Ах, бабы, бабы! Мору на вас нету! Гапка из тьмы взошла что месяц полуночный... И сколько

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
Коляша тех баб познал! Но Эллочку и Гапку – первых в жизни своей женщин, помнил и поминал всегда с трепетом и душевным подъемом. Да и есть за что – это ж не женщины, это ж эрэсы, то есть «катуши», – ка-ак начнут пламенеть – вся земля горит и колыхается, держись, мужик, за весло, кабы в волны не снесло.

Кап, кап, кап, гынь, гынь, гынь – идет дождь, едет машина, едет, вьются верстами строчки: «Когда пробьет последний час природы... – Кап, кап, кап... Состав частей разрушится земных... – гынь, гынь, гынь... – Все зримое опять покроют воды...» – Отчего же не каплет-то? Не бьет в железо? А-а, ветер налетел, отклонил струйки дождя, кабы снег не принесло... Что ж, может и снег выпасть – через несколько дней Покров, и самое время снегу быть. Снег на Покров, стало быть, зима теплая будет, бают старики. Не дай Бог зиму лютую, студеную, ведь и в нынешние-то, в сиротские-то зимы трубы по городу лопаются, парит везде и всюду, люди мерзнут, дети болеют и мрут. Во! Снова – кап, кап, кап, – сла-ава Богу... «И Божий лик изобразится в них»...

Гынь, гынь, гынь. Гы-ы-ынь, гы-ы-ы-ынь. – тянется и тянется дорога во тьме, и нету ей конца, и даже сон не может одолеть ту давнюю, словно в другой жизни пролегшую дорогу. Старый солдат поднапрягся, вспоминая молитву на сон грядущий, которой старательно учил его отец Ефимий. Казалось ему, молитвы он основательно забыл, как успел забыть Туську с мужем, где-то затерявшихся в бурной жизни и скорей всего канувших в ней, да и сам отец Ефимий, остров Валаам с черными фигурами монахов на берегу, будто тени, виделась тоже где-то в другой жизни, может, и в ином мире. Но лунный блик все так же явственно качался на воде, катился впереди теплохода. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших... А мы вот материмся в мать-то, выходит, и в нее, в Божию мать... – ворвалось в молитву, будоража ее успокоительное действие. Николай Иванович осилился, отринул думы про грешное... – и всех святых помилуй нас. Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняи, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны...», – шевелил губами Николай Иванович, вышептывая Божеское, и в то же время слушал чутко: не крадется ли сквозь дождь и шорохи враг какой за капустой. И понимал: молитва и суетность несовместимы, не проникла молитва в душу его, как Тютчев или тот же Рубцов, скользит Божеское по поверхности башки и скатывается с нее, как брызга с вилка капусты.

Мать-перемать, все-таки вставать придется, вокруг грядки пройтись – враги, кругом враги и воры, какой уж тут сон, вина своего да иностранного надулся, тоже жмет, на улку позывает – где тут Бога дозваться, достучаться до его небесных врат. В штаны бы не напустить. Грешен, грешен батюшко, ладно хоть к раскаянью готов, маяту души и тяжесть тела испытывает гнетущую. Чего дальше-то будет? Главное, не заболеть бы, не залежаться и как придет она – сразу бы, как ту капусту, хрясь топориком под корень – и отдаться Богу на милость, в распоряжение верховное. А там уж он сам распорядится, кого куда определить, в нужное направление направит...

Но главное всего, чтоб жива была Женяра. Уснет он вот так и не проснется... Она по Божьему завету оплачет его, снарядит в дальний путь, потом и сама рядышком тихо ляжет. Чего ж ей одной-то тут делать? Неинтересно одной, пусто одной...

Вон у тихого пенсионера Зайцева, домик которого за речкой, умерла жена – и потерялся он в жизни, никому совсем не нужен, даже и богатому внуку...

Прошлой зимой, да на исходе уж зимы, собрались они сюда с Костей Босых – соседом по огороду, в котором сам он ничего не делал, только, раздевшись до трусов, рубил окучником беспощадно крупный сорняк, материл правителей на весь белый свет, крыл Рейгана, Садама Хусейна, когда и Ким Ир Сену попадало, и нашим всем по очереди. Ныне Ельцина кроет Костя почем зря. А в огороде работала его Аннушка, этакая мышка-норушка, с Женярой скорешившаяся по причине характера. Жену свою в молодости Костя тоже обижал, а ныне уж ни гугу – боится остаться один. Подались они за город, намереваясь натопить избушку, но главное – выпить на раздолье и всласть наговориться. У ворот инвалидного садового объединения «Луч» сторожа встретили, точнее, он их встретил, зная, что у парней этих с собою непременно есть кое-что. Ну, ла-ла-ла, то да се, как тот, как этот, у Зайцева за речкой его однофамильцы изгрызли всю вишню и все ранетки, огород весь исколесили, а его вот нет и нет, с самой осени, с октябрьских праздников. Может, заболел, а может... Тут инвалидишки переглянулись меж собой и, ничего не говоря более, ринулись по целику за речку...

Костя Босых этого Зайцева презирал за угодливость, за тихий нрав и голос едва слышный. Они и познакомились-то бурно. Существовали тогда еще хитрушки под названием «магазин для ветеранов». Их магазин был отгорожен от народа фигуристой железной решеткой, у которой от открытия до закрытия толпился русский люд, ждал, когда подвезут чего-нибудь съестное в продажу, кроя иной раз и этих дармоедов за фигуристой решеткой, к которым, как везде у нас, поналепилась куча: афганцы, герои каких-то других войн и вылазок, в Эфиопию, в Египет и еще куда-то, – мудрая партия, как всегда, мудро поступала, откупаясь подачками. Участникам и инвалидам ВОВ преподносилось это как милость и выглядело так, будто вожди от себя и от своих деток отрывали последнее и отдавали страдальцам.

Томятся как-то инвалиды в магазине, и дерни за язык этого Зайцева нечистый. Всегда за цветками в уголке жался и оттудова тихонечко вопрошал: «Кто последний? Я за вами». И вякнул из ухоронки своей умильным голосом: «Вот спасибо товарищу Брежневу, пайку для нас подешевле вырешил...» В магазине в ту пору как на грех и на беду случился Костя Босых. Занимая очередь, он всегда и везде грудью вперед, голосом орет громким, да и есть отчего быть голосу – в боковом кармане старого бушлата у него плоская фляга – для хоккея, он из нее пьет хоть где, хоть с кем. Вот выпил, вытерся рукавом, горлышко фляге вытер и, не спрашивая Коляшу, хочет он или нет, посудину сунул. «Э-эх ты! – загремел Костя на пенсионера Зайцева. – Ты и на фронте, и в тылу сироткой был, вот таким сиротой и пред Богом предстанешь! Па-айку вырешили! Спасибо партии родной, дала по баночке одной! А я, распротвою мать, воевал за то, чтоб прийти в магазин и на свой трудовой аль на пенсионный рубель купить все, чего душа пожелает! Па-а-айку вырешили!..» «Котя, котя! – теребила его за рукав в платочек укутанная, кроткого вида женщина. – Ну че ты его оглушаш? Исправишь ты его сей миг, што ли? Перевоспитан!?!..»

Костя Босых только этой женщины слушался, только ей внимал. Укротив себя, побулькал из фляжки, на которой было выгравировано: «Советский хоккей лучший в мире на все времена!», кинул руки по спинке диванчика, меж двумя цветками ременного вида, поставленными для красоты и эстетизма в прихожей «блатного магазина».

Долго еще бурчал Костя, комментируя поведение не только Зайцева, но и тех, кто, отоварившись, выпячивался задом в дверь, продолжая кланяться и благодарить благодетелей-продавцов.

Внук у Зайцева и тогда уже был деловой: минута в минуту, чуть ли не в самое жерло магазина вметывалась красная машина, и в шарфах до задницы, в волчьих шапках и в дубленках, ворвавшись в помещение, внук с женою волокли старика Зайцева к весам, затем, дружной компанией вывалившись в прихожую, быстро разбирали старый, поди-ка еще фронтной, рюкзак: «Это тебе, дед, потреблять нельзя – гастрит; это тебе, дед, есть вредно – печень; это, дед, влияет на склероз, это – на почки; от печени толстеть будешь, правнуку ты его даришь...» И в результате «чистки» рюкзака оставался дед Зайцев с перцем, горчицей и кетчупом, назначение которого он не знал. До женитьбы долго гонял и мучил внук деда: наедет с бандой девок и парней, отправит деда домой, чтоб не мешал веселиться. Потом, когда женился, переместил деда в совгород почти на постоянное местожительство.

Дверь в домике Зайцева заперта изнутри, окно льдом заросло.

Нашли лом, дагнули дверь – и дохнуло на инвалидов тухлой волной тления: под одеялом, в полушубке, в солдатской шапке, завязанной под подбородком, стеклянистым инеем покрытый, смиренно вытянув руки в рукавицах, лежал почерневший старичок с небольшим, изъеденным мышами, лицом. Жил и все славил: «Партия! Партия! Сталин! Сталин! Ленин! Ленин! Вперед – народ!» Под конец уж только внука: «Вадик-Вадик!..»

Едва нашли старики того Вадика. В новых спальнях кварталах он пребывал. Ехать за город не хотел. Костя Босых, Николай Иванович зашлись в ярости, затопали так, что хрустали в квартире забренчали и ведро с бутылкой виски с полки сорвалось. Жена внука Зайцева, в голубом атласном кафтанчике, в атласных туфельках, выскочила и заорала: «Вы что, хулиганы, в тюрьму захотели? Сгною старперов!» Коляша, к разу вспомнив незабвенного солдата Сметанина, деловым тоном воззвал:

Астафьев Виктор Петрович Так хочется жить [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

– Костя! Давай гранату! Тряхнем этот рай напоследок!..

Костя рукой за пазуху, железной пробкой зазвенел об хоккейную флягу, будто кольцо из чеки гранаты вынимая.

– Мужики-ы-ы-ы! Да вы что-о-о-о-о? – завопил Вадик и откинул в глубь квартиры бойкоязыкую жену. – Любые деньги, мужики! Лю-у-убы-ые! Похороните деда! Похороните! Я его любил и помнить буду, но я смерти боюсь, мужики-ы-ы-ы...

– А мы, думаешь, не боялись ее, когда моложе тебя, под огнем, в окопах дрогли?! А ну, собирайся, курва!

Они заставили-таки Вадика хоронить деда, пусть и в закрытом гробу, заставили и жену его, и малого их сына на кладбище быть. Заставили и поминки в кафе «Изумруд» справить. Чуть только Вадик или его повелительница сопротивление оказывать начнут, Николай Иванович глянет на Костю Босых, и тот сразу за пазуху лапой. Хотели даже заставить Вадика и девять дней справить, и сороковины, но тут уж взмолился сам Костя:

– Коляша, Николай Иванович, мы ведь спяну и в самом деле прикончить можем этого поганца. Да ну его... к аллаху!

..О, как же длинна, как бесконечна осенняя ночь, что та давняя и дальняя дорога на фронт.

Благословенна и проклята будь она.

Овсянка – Красноярск

Сентябрь 1994 – январь 1995

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!